

172
897

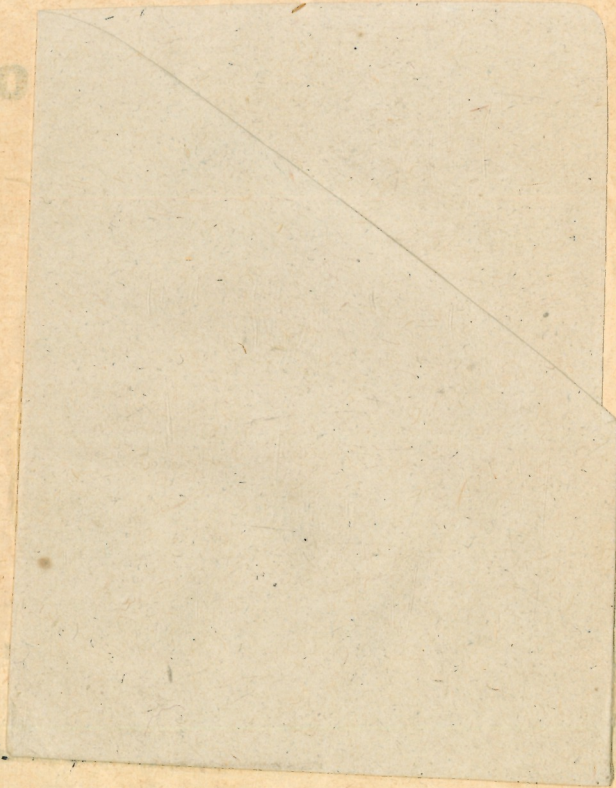
801-88
4341-4

ПАМЯТИ

А. Л. ВОЛЫНСКОГО

**ИЗДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
Ленинград — 1928**

Н Т Р М А П



W 172
897

28-25730

ИЗДАНИЕ В. С. П.
ЛЕНИНГРАД — 1928

Марка Союза —
раб. С. Пожарского



2007061461

Типография Академии Художеств, В. О., Тучков пер., д. № 1. Телефон 1-27-54
Ленинградский Облит № 49925. — 6 л. Тираж 500. Заказ № 2983



А. Волынский

Раб. М. Наппельбаум

ПРЕДИСЛОВИЕ

6 июля 1926 года скончался Аким Львович Волянский. Его имя проходит через целый ряд глав в истории русской литературы конца XIX и начала XX века: с его именем связан расцвет „Северного Вестника“, „Книга великого нева“, книга „Русские критики“. И нигде имя А. Л. Волянского не ложится закономерной, ровной строкою в ряду других строк. Исхоженные, ровные пути были органически враждебны А. Л. Волянскому, в ногу он идти не умел, он шел всегда против течения—и оттого в „хорошем обществе“ русского либерализма он не был принят. Имени А. Л. Волянского не найти ни в одном из тогдашних руководящих печатных органов, ему приходилось ютиться на каких-то литературных окраинах.

И только около 1920 года из своего одинокого гетто А. Л. Волянский попадает в струю общественности: он работает в совете Дома Искусств, председательствует в коллегии Всемирной Литературы и,

наконец, избирается в 1920 году председателем правления Всероссийского Союза Писателей.

„Почетный гражданин города Милана“—это звание А. Л. Волынский получил за свою книгу о Леонардо да-Винчи. И как будто, в самом деле, нечто от старых итальянцев было в этом человеке — и не только в его внешности: это было и в его заразительном, темпераментном красноречии, в его несколько театральном пафосе, в его торжественности, в его гибкой дипломатии.

Эти качества помогли А. Л. Волынскому вести работу в очень трудное для Союза Писателей время, когда, разбросанные в разные стороны революционным землетрясением, писатели вновь стали осознавать себя, чувствовать себя некой единой общественной группой, вновь начали строить свою профессиональную организацию.

На это важное общественное дело А. Л. Волынским положено много труда и сил.

В качестве председателя Правления Ленинградского Отдела Всероссийского Союза Писателей А. Л. Волынский проработал четыре года—с 1920 по 1924 г.

Мы считаем своим долгом почтить изданием настоящего его сборника память своего бывшего председателя.

Сборник этот отнюдь не притязает на то, чтобы дать анализ литературных работ А. Л. Волынского и оценку его роли и места в истории русской художественной культуры. Едва ли также удастся на этих немногочисленных страницах полностью отразить очень оригинальную и многоцветную личность А. Л. Волынского. Сборник этот является только нашим скромным венком на могилу покойного.

Составление настоящего сборника было поручено П. Н. Медведеву, а оформление издания—Э. Ф. Голлербакху и М. А. Фроману.

Правление считает необходимым засвидетельствовать здесь свою признательность названным лицам, а равно и всем авторам, безвозмездно предоставившим свои статьи для настоящего сборника.

ПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛА
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

ЖИЗНЬ А. Л. ВОЛЫНСКОГО

Есть литературные критики, чье творчество, проникнутое эрудицией и тактом, уравновешенное и спокойное, объективное в своих оценках и компромиссное в выводах, принимается нами, как большая полезность, как „примирительный елей“ или, наконец, просто, как отрадный „плод культуры“.

И есть упорные и странные мечтатели, неутомимые полемисты, фанатики и подвижники мысли, понимающие литературное творчество, как неустанную пропаганду своих убеждений, как постоянную борьбу и жертвенное служение,—горящие „в огне и холоде тревог“, окутанные горьким чадом литературы, счастливые этим горением и задыханием, навсегда полюбившие кипение и клочотание мысли.

К этому второму типу писателей (существуют и другие категории) принадлежал А. Л. Волынский,¹⁾ одна из самых своеобразных и колоритных фигур в истории нашей литературы, представитель высокого

¹⁾ Настоящий очерк составляет часть большой работы Э. Ф. Голлербаха „Жизнь и мировоззрение А. Л. Волынского“. Биографическая сторона этой работы основана на личных беседах с А. Л.

аскетизма, прекрасного „дон-кихотства“, человек насквозь литературный в самом благородном значении слова,—короче говоря, „пламенный“, как выразился-бы Вяч. Иванов.

Аким Львович Флексер, критик, историк искусства и философ, писавший под псевдонимом А. Л. Во-лын-ский, родился 21 апреля 1865 г. в г. Житомире. Учился в Житомирской гимназии, из шестого класса которой перевелся в Петербургскую 5-ую гимназию. Будущий писатель пользовался вниманием и любовью учителей, как прилежный и даровитый школьник. Особенно охотно занимался он древними языками и математикой. Латинским и греческим языком он современем овладел настолько, что приобрел возможность читать древних писателей в подлиннике.

В 5-ой гимназии юноше пришлось столкнуться с формализмом и педантичностью некоторых педагогов. В результате этих трений он был уволен, без всякой серьезной причины, исключительно вследствие уязвления мелкого самолюбия двух преподавателей, недовольных свободолобивой самобытностью своего ученика. Несмотря на рутинерский дух эпохи, в судьбе Во-лын-ского приняли участие профессор Цитович и граф Лорис-Меликов. Было назначено следствие, с целью выяснить, на каком основании был Во-лын-ский изгнан из гимназии. Постановили разрешить ему держать экзамены экстерном.

Во-лын-ский держал экзамены на аттестат зрелости во 2-ой гимназии и выдержал их блестяще. Аттестат был настолько хорош, что при поступлении в университет юноша был сразу зачислен на стипендию, что было для него существенным подспорьем в те годы материальной нужды.

В общем, впечатления, вынесенные Во-лын-ским из средней школы, не были плохи. В особенности хорошее воспоминание сохранил он о Шаврове, учителе русской словесности. Шавров оказал на него большое влияние, натолкнул его на изучение Буслаева, пробудил любовь к Некрасову, которого Во-лын-ский всю жизнь чтит, как самого выдающегося „городского“ и народного поэта.

Влечение к писательству Во-лын-ский испытал еще на гимназической скамье. Оно-то и заставило его переехать из провинции в Петербург. Ему казалось, что уже один переезд в столицу сделает его до некоторой степени „литератором“ и поможет его карьере.

В Петербурге Во-лын-ский начал сотрудничать в русско-еврейской прессе, сначала в газете „Рассвет“ (с 1883 г.), потом в газ. „Русский Еврей“. В газ. „Рассвет“ он напечатал, кроме ряда статей, свой перевод „Автоэмансипации“ д-ра Пинскера, основоположника сионистского движения. В газ. „Русский Еврей“ он поместил ряд статей, критических и философских, а также писал библиографические заметки. Здесь поместил он в числе первых значительных статей—очерк о Влад. Соловьеве, по поводу его публичной лекции

о еврействе. В ту пору Волынский подписывал свои статьи „Ното“ или инициалами А. Ф.

Издатель „Русского Еврея“, Лев Осипович Кантор, относился благосклонно и поощрительно к дебютам молодого писателя; но большого удовлетворения эта работа Волынскому не давала; тесные рамки еженедельных газет препятствовали широкому размаху.

Из „Русского Еврея“ Волынский перешел в журнал „Еврейское Обозрение“. В этом ежемесячном издании он писал уже довольно ответственные статьи, будучи всего только студентом первого курса (юридического факультета).

К этому времени относится знакомство Волынского с Семеном Григорьевичем Фругом, который был вызван в Петербург редакцией „Рассвета“, а затем перешел в газету „Русский Еврей“. Знакомство с Фругом приняло вскоре характер тесной дружбы. Более горячей взаимной симпатии, чем отношения с Фругом, в жизни А. Л. не было; за всю свою жизнь он только с одним Фругом был „на ты“.

Будучи на третьем курсе университета, Волынский принял участие в ежемесячном журнале „Восход“, который редактировал Ландау. Здесь он напечатал свою первую философскую работу — „Теологико-политическое учение Спинозы“, большой труд, вошедший в три номера „Восхода“. Помещал также статьи критико-литературные, причем в журнале „Восход“ впервые стал подписываться псевдонимом Волынский, кото-

рый впоследствии стал гораздо более известен, чем настоящая его фамилия. В „Восходе“ появился ряд статей Волынского под общим заглавием „Бытописатель русского еврейства“, цикл очерков — „Библейские мотивы в русской поэзии“ и пр. Успеха статьи эти не имели по той причине, что автор их резко критиковал русско-еврейское литературное творчество, и еще более потому, что обнаруживал нежную любовь ко Христу, свойственную ему с детских лет. Читателями „Восхода“ были почти исключительно евреи, на которых подобные статьи производили скандальное впечатление. В статьях о Спинозе, который был бесспорным поклонником Христа, Волынский подчеркнул его „христианизм“.

Вообще, в ту пору окончательно определилось преобладание религиозно-мистических интересов в творчестве Волынского. Эти устремления сделались всегдашними двигателями его литературных замыслов. „Бестактному“ критику пришлось уйти из „Восхода“; Ландау пробовал его защищать от нападков, но тщетно. Тогда Шеллер-Михайлов охотно принял его в „Живописное Обозрение“, а затем ему удалось, через посредство Фруга, устроиться в журнал „Новь“, изд. Вольфа.

В 1889 г. Волынский окончил курс юридического факультета. Профессор Градовский намеревался оставить его при кафедре государственного права, не требуя даже диссертации и обещая зачесть ему в качестве таковой работу о Спинозе. На предложение Градовского остаться при университете Волынский указал профес-

сору на свое еврейское происхождение. „Но это не имеет значения,—возразил Градовский,—вы можете креститься“. — „Я не крещусь,—ответил Волинский,—и кроме того, я хочу быть не профессором, а литератором“. Подобно Градовскому, очень внимательно относился к Волинскому профессор гражданского права Дювернуа, напечатавший в „Русских Ведомостях“ статью Волинского о Надсоне.

Не оставшись при университете, Волинский сделался, тем не менее, членом совета научно-литературного общества при университете, которое не мало занималось философией. На одном из заседаний этого общества должен был сделать доклад бентамианец, утилитарист Бартенев, который по какой-то причине не явился. Взамен его председатель собрания Дювернуа предложил Волинскому прочесть экспромтом доклад „О споре Милля со Спенсером по вопросу о всеобщем постулате“. Тот не готовился к публичному выступлению, но решил выступить, причем в докладе своем энергично защищал воззрения Спенсера. Успех этого выступления был огромен. На дебютанта обратили внимание входившие в состав совета общества профессора Платонов, Водовозов, Лаппо-Данилевский, заинтересовалась и публика. После доклада к Волинскому подошел познакомиться Мережковский, который с тех пор часто стал бывать у А. Л. К этому же времени (1890 г.) относится возникновение литературного кружка в доме А. А.

Давыдовой, (супруги директора консерватории). В занятиях этого кружка принимали участие Е. В. Аничков, Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, Н. К. Михайловский, С. Н. Южаков и др. Здесь же Волинский познакомился с Л. Я. Гуревич, тогда двадцатилетней курсисткой, только что вступившей на литературное поприще. Она заинтересовалась философскими статьями Волинского, появившимися в журнале „Северный Вестник“. Наиболее значительная из них, под заглавием „Критические и догматические элементы в философии Канта“, была составлена из домашних лекций, читанных Волинским дочери Давыдова.

Когда издательница „Северного Вестника“ А. М. Евреинова осталась без средств, компания молодежи, объединенной общностью идейных интересов, решила приобрести журнал. Одной из главных пайщиц „Сев. Вестника“ сделалась Л. Я. Гуревич. Официально журнал перешел в руки Б. Б. Глинского. Год спустя издательство запуталось в долгах, но Гуревич сумела достать денег для его поддержки и сделалась официальной издательницей журнала, выборной от пайщиков, взамен Глинского. Через полгода настолько резко обозначилось разногласие между тенденциями пайщиков и тенденциями, определявшими (в статьях Волинского) физиономию журнала, что дело кончилось третейским судом. Л. Я. Гуревич приписывались разные проступки против коллегии пайщиков, и в третейской записи говорилось, что, смотря по приговору суда, владеть журналом

останется либо Гуревич, либо коллегия пайщиков. Журналом осталась владеть Гуревич. Но бюджет далеко не покрывался подпиской. Начались годы непрерывного труда, мучительного добывания денег под бесчисленные векселя, годы шумной полемики, нападок со всех сторон, бурных столкновений и в печати, и в жизни.

В 1899 г. журнал стал окончательно угасать, выходя в свет тоненькими книжками. Приходилось бороться уже не только с безденежьем, но и с цензурой. Начальник главн. упр. по делам печати М. П. Соловьев, питавший личную вражду к Гуревич, доканал „Северный Вестник“.

Работа в „Северном Вестнике“ создала Волюнскому широкую литературную известность. Его статьи, направленные против радикализма в литературной критике, не нравились пайщикам журнала. Завязалась полемика, вызвавшая судебное разбирательство, в котором приняли участие К. К. Арсеньев и М. М. Спасович. Суд оправдал Волюнского, ставшегося после этого редактором „Северного Вестника“; помощником его был Альбов. Глинский был устранен от руководства журналом.

Из философских работ, написанных Волюнским в эти годы, кроме упомянутых уже статей с Канте, нужно отметить большую статью „Наука и философия“, помещенную в „Сев. Вестнике“. В ней было подвергнуто критическому разбору учение Вильгельма Вундта, известность которого в России тогда только начиналась.

Отношение „старшего поколения“ и, в частности, Михайловского к Волюнскому в целом носило враждебный характер. Михайловский поддерживал и раздувал тот осуждающий шум, который вызывали в публике постоянные выступления Волюнского против русских критиков. Когда появился фельетон Михайловского „Карьера Аладушкина“, Волюнский подверг его суровой критике, причем отстаивал мысль, что талант имманентно благороден и что культ принципиальности следует заменить культом таланта. В ответ на эту статью Михайловский поместил в „Русских Ведомостях“ огромный фельетон, в котором обрушивался на вольнодумного критика.

Этим фельетоном Михайловский невольно создал своему оппоненту громкую рекламу. Волюнский ответил ему в „Сев. Вестнике“ и вызвал его на публичный спор. На это откликнулся Чуйко в „Одесских Ведомостях“, заметивший, что спор не будет иметь успеха, так как Михайловский откажется от вызова, с которым ему не справиться. И действительно, полемике с Михайловским не суждено было развернуться. Месяца через три-четыре Михайловский вспомнил в „Русском Богатстве“ о сделанном ему вызове, но при этом сообщил, что он Волюнского вообще не читает, да и читателям своим читать его не советует.

„С тех пор, — говорит А. Л., вспоминая этот выпад, — я был отлучен от литературы с легкой руки Михайловского, и это отлучение чувствую и до сего времени“.

Статьи Воынского о русских критиках, собранные в отдельную книгу, по выходе в свет, успеха не имели. Только П. Н. Милоков дал в „Атенеуме“ блестящий отзыв, утверждая, что в культурной стране автору подобной книги поставили бы памятник. Л. Н. Толстой в беседе с Л. Я. Гуревич сказал ей: „Сейчас Воынского ненавидят за эту книгу, но когда-нибудь будут обожать“. Насколько повредил Воынский этою книгою своей репутации, явствует хотя бы из того краткого и неблагоприятного отзыва, какой имеется в „Большой Энциклопедии“ (изд. „Просвещение“ 1903 г.), где многим менее значительным писателям уделены пространные и хвалебные статьи. Говоря о деятельности Воынского в „Сев. Вестнике“, анонимный автор заметки пишет: „Здесь он помещал философские и критические статьи, пытаясь развенчивать литературные заслуги Белинского, Чернышевского, Добролюбова и Михайловского, коим он придал ложное освещение“.

В 1900 г. вышла книга Воынского „Леонардо да Винчи“, богато иллюстрированная художественно-историческая монография, или вернее—цикл полубеллетристических статей, и сборник критических очерков под заглавием „Борьба за идеализм“.

Общее направление критической деятельности Воынского не раз вызывало порицание со стороны Влад. Сергеевича Соловьева. Последний написал однажды С. А. Венгерову письмо (пересланное в редакцию „Северного Вестника“, но не напечатанное), в ко-

тором говорил, что мысли, высказываемые Воынским, талантливы, но вредны так как он льет воду на мельницу русского антисемитизма. Появившаяся вскоре в „Сев. Вестн.“ статья Воынского о переписке Гоголя с друзьями была как бы ответом на упрек Соловьева.

На почве осуждения Соловьевым критики Воынского, между ними произошло шумевшее в литературных кругах столкновение. На собрании одного литературного кружка Соловьев сказал, что статьи Воынского бестактны, что они не по времени. На это Воынский ответил: „Если вы пророк, то предскажите, когда же настанет время—я готов подождать осуществления вашего пророчества“. Соловьев смутился. Аудитория поддержала Воынского бурными аплодисментами.

Сочувственно отнесся к Воынскому Горький. После „Челкаша“, о котором Воынский дал отзыв, Горький написал ему письмо, с выражением сочувствия „Сев. Вестнику“ и Воынскому, изъявляя желание работать в журнале. Вспоминаю фразу, с горечью сказанную А. Л.: „Письма Горького могли бы изменить мою репутацию „отверженного“ критика, но я не стану их печатать, — за меня должны говорить мои собственные дела, а не письма знаменитых людей“.

После 10-летнего сотрудничества в „Сев. Вестнике“, критическая деятельность Воынского внешним образом замерла. „Ответ Н. М. Минскому“ был в этом журнале

его последней статьей (1898), — впоследствии перепечатанной в кн. „Борьба за идеализм“.

В связи с тем, что Воынский в высшей степени отрицательно отнесся к книге Минского „При свете совести“, Минский поместил в „Новостях“ по поводу предстоящего закрытия „Сев. Вестника“ статью, направленную против Воынского, в которой называл его „природным погромщиком“, рисовал его в роли инквизитора и возмущался тем, что Воынский идет против декадентства, которое он сам же будил и вызывал к жизни.

Однако, А. Л. до конца дней считал свою позицию вполне резонной. „Я всегда охотно печатал декадентов, — говорил он, — и не менее охотно бранил их, но эту брань считаю ими заслуженной. Я всегда держался принципа: „живи и давай жить другим“. Всякий талант можно и нужно защищать, но критика должна быть свободна“.

Много шума поднялось вокруг имени Воынского в связи с его лекциями в Петербурге, Москве и Риге.

Вскоре после закрытия „Сев. Вестника“ писатель был приглашен устроителем лекций Мансфельдом прочесть публичную лекцию по истории новой русской литературы в московском Историческом Музее. Незадолго до лекции А. Л. получил анонимное письмо, в котором говорилось, что если он будет порицать Михайловского, то его побьют.

Лекция состояла из обозрения судеб русской критики, публицистики, литературы и оценочной характеристики главнейших литературных деятелей. Коснувшись попутно Михайловского, Воынский сравнил его с жандармом, который, стоя на платформе, следит за отправлением поездов.

В этом месте лекции в аудитории раздался крик: „Вы сами жандарм“ и поднялась буря аплодисментов, топота, свиста и шиканья ¹⁾.

Передовые литераторы Москвы отнеслись к Воынскому сочувственно. А. Л. не раз вспоминал о том, как Брюсов и Поляков повезли его после лекции на тройке в „Яр“, где состоялся ужин.

Прочитанная в московском Историческом Музее лекция была затем с успехом повторена в Риге.

С годами все более упрочивалась изолированность Воынского в литературных кругах, вызванная не столько последствиями полемики и личными столкновениями, сколько упорным своеобразием и строгой прямолинейностью мировоззрения „опального“ писателя. Даже родственные ему по религиозно-мистическим настроениям мыслители не завладели его симпатиями в силу

¹⁾ Подробное освещение этого события, вместе с откликами печати, содержится в книге Н. Г. Молоцова „Борец за идеализм“, посвященной характеристике литературной деятельности Воынского. Упоминание о нем имеется и в „Дневниках“ В. Я. Брюсова (М., 1927).

различия умственной структуры и несходства духовных традиций.

Группа московских неославянофилов—Бердяев, Булгаков, Эрн, Флоренский и другие—к сожалению, никогда не пользовалась симпатией Волюнского. „У них нет главного,—говорил А. Л.,—критического идеализма. Булгаков, Бердяев и проч.—все это ничтожные фельетонисты, лишённые подлинного таланта. Их философия не серьёзна, это, не более, как агитация в университетском коридоре, среди желторотых птенцов“.

В статье Булгакова о Достоевском А. Л. находил признаки плагиата, считая, что некоторые мысли заимствованы автором у него, Волюнского.

Вспоминаю ещё один отзыв Волюнского о московских философах: „У них—энциклопедия идейных терминов, а не органическое творчество. Ныне пошел как-то Дорошевич в философию“.

Интересна история отношений Волюнского с Розановым. Связанные до некоторой степени общностью своих устремлений и даже самых тем, эти писатели, были, однако совершенно чужды друг другу по манере мышления. „Очень уж вы последовательны,—говорил Розанов А. Л.,—очень уж строги и обточены; у вас римский нос, а мы, русские, любим нос „картофельный“: вот римский-то нос и мешает нашей близости“.

В ответ на мою защиту афористического мышления, А. Л. возразил: „Это, прежде всего, не работа. Нужно уметь мыслить целыми верстами. Ницше нам

не указ. Одну страницу Шопенгауэра я ценю выше всего Ницше. У Ницше нет процесса, нужен процесс“.

В 1901 г. Волюнский предпринял путешествие в Константинополь. В Греции он много поработал в области археологии и иконографии, составил обширную коллекцию снимков с икон, церковных предметов и пр.

Наряду с церковной археологией, Волюнский на протяжении всей своей жизни уделял много внимания истории живописи. Ещё в бытность слушателем Берлинского университета он предпринял исследование художественных примитивов и собрался написать о них книгу (намерение это осуществлено не было). Он подробно обследовал голландские, фламандские, итальянские, французские и отчасти немецкие (именно—кельнские) примитивы и пришел к заключению, что каждый народ имеет свои, национально-типичные, примитивы, так что „нидерландских“ примитивов, в сущности, нет, а есть фламандские и голландские, вопреки распространенному убеждению, что последних не существует в качестве самостоятельных областей искусства. Именно потому и возникли два течения искусства—голландское и фламандское, что существовали примитивы того и другого рода, послужившие первоисточниками для дальнейшей эволюции голландской и фламандской живописи.

На Афоне Волюнскому приходилось нередко вступать в горячую полемику с ортодоксальными мона-

хами. Один послушник сказал ему; «Ты крещен духом, но не крещен водой,—пока не крестишься, ничего не выйдет». Убеждения принять крещение Волинскому приходилось выслушивать не редко.

Много новых впечатлений и мыслей дали писателю путешествия по Италии и Греции. Он убедился, между прочим, в том, что античный театр есть по существу — балетный театр. Это привлекло его к изучению балета, которому он посвятил пятнадцать лет и который, по словам А. Л., спас его как литератора.

Незадолго до войны Бонди, причастный к редактированию «Биржевых Ведомостей», пригласил Волинского участвовать в газете в качестве театрального критика — специалиста по балету. Отсюда началась популярность А. Л. в театральных кругах, которой не смог поколебать даже литературный остракизм.

Во многих редакциях «дурная слава» Волинского продолжала упорно держаться. Так, напр., в редакции журнала «Мир Божий» ему удавались свидания с Куприным только в полночь, когда других сотрудников не было.

В эти годы завязалось знакомство А. Л. с Коммисаржевской, которая проходила с ним многие роли, так же как Аполлонский, создавший с помощью А. Л. роль Гамлета и другие.

В последние годы существования «Биржевых Ведомостей» А. Л. заведывал литературным отделом

газеты, много сделал для улучшения и расширения этого отдела.

После революции 1917 г. Волинский был приглашен в редакционную коллегию учрежденного при Наркомпросе издательства «Всемирная Литература» и работал в ней, в качестве председателя, в течение всего времени существования этого издательства. Кроме того, он состоял одним из редакторов возникшего в 1921 г. издательства «Парфенон» (вскоре прекратившего свою деятельность). Приглашенный на амплуа балетного критика в журнал «Жизнь Искусства», Волинский поместил в нем ряд статей об этой, излюбленной им, отрасли искусства, а также напечатал часть своих литературных воспоминаний. Много сил и внимания уделял А. Л. Союзу писателей, в Ленинградском отделе которого он был некоторое время председателем. Но любимейшим его детищем, которому он отдавал все свои помыслы, был Хореографический Техникум (Школа русского балета). Часть работ А. Л. по хореографии вошла в его «Книгу ликований». Неизданными остались три большие книги — «Гиперборейский гимн», о Рембрандте и о Хореографическом Техникуме (воспоминания).

А. Л. был одним из тех людей, которые могут жить только в атмосфере непрерывного труда,

в нескучеющем потоке мышления. Его литературные работы частью устарели, в его деятельности можно найти не мало ошибок и промахов, он был порою и близорук и пристрастен, но, тем не менее, заслуги его перед русской литературой совершенно несомненны. Творчество Воынского ценно, как подробная летопись русской литературной жизни 80-х, 90-х и 900-х годов, не говоря уже о том, что оно богато интересными и глубокими мыслями, догадками и предвидениями.

Э. Голлербах

АКИМ ЛЬВОВИЧ ВОЛЫНСКИЙ

Если бы А. Л. Воынский жил трём, пятью веками раньше нашего времени, он оставил бы после себя громадное идейное движение, десятки учеников, тысячи последователей. Он мог бы быть основателем какой-нибудь секты, мог бы оказаться причисленным к лику святых, какой-нибудь вселенский собор мог бы предать его анафеме.

Этот человек жил для того, чтобы сделать жизнь, у него как у Льва Толстого, нет биографии, у него — житие.

То, что в последнее время пришлось пережить Воынскому, не было для него исключительно тяжелым. С момента выступления на поприще писателя Воынский нес тяжелый крест. Он сам возложил этот крест на свои плечи, и он ни разу не оступился под его тяжестью. Всю жизнь — нищий, всю жизнь — одинокий, Воынский ни разу не просил помощи, ни разу не пожаловался на отсутствие друзей.

В прошлом он мог бы быть пророком, в наше время он был философом. Неудачи и бедствия вдохновили его, он смотрел на них с улыбкой человека, понимающего, что он сильнее всех несчастий мира. Бедствия делали

его величественным. Они выработали духовный и физический жест Волинского.

Только он, Волинский, мог говорить в наши дни таким языком. Он даже не говорил, а вел переговоры, как держава ведет переговоры с державой.

— Я передаю свой труд государству.

Конечно, не—Госиздату, скажем,—а государству. Он не умел говорить о простых вещах, для него не было простых вещей. Он был до мозга костей человек принципиальный. В мельчайшем вопросе он отыскивал принципиальную сторону, и мельчайший вопрос вырастал у него в проблему. Ум его не умел обращаться с малым предметом, он требовал громоздких абстракций.

Человек огромных знаний, Волинский в любом понятии отыскивал противоречие, легко вскрывал его и с энтузиазмом выступал в защиту своей мысли. Энтузиазм навлекал на него новые бедствия. Тогда он аскетически замыкался, уходил в затвор.

Каждое выступление Волинского—в печати, в обществе, в кругу знакомых—начиная от сражений его с Михайловским, кончая сражениями за порядок дня в собрании писателей,—каждое выступление его было спорно. Но он—Волинский—был всегда прав, потому что он всегда верил в свою правоту.

Книга Волинского о Леонардо да-Винчи дала ему честь называться гражданином города Милана. Он написал к концу жизни другую книгу—о Рембрандте, и нет сомнения, что этой книгой он сделал честь

городу Лейдену. Он умел трудиться с такой сомнотверженностью, с какою молились древне-христианские отшельники, и конечно, он молился бы так же, если бы труд не заменил ему молитвы.

Его работа достойна особого изучения, книги его долго еще будут вызывать споры.

Но он создал одну бесспорную книгу—свою жизнь.

По этой книге особенно хорошо поучиться в наше время. Как книга о больших людях, она учит труду, самопожертвованию и вере в человеческий дух. И еще одному: она учит рыцарству.

Эта книга—о жизни философа, аскета, энтузиаста, может быть, последнего из подлинных Дон-Кихотов.

Конст. Федин

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Я округлю: это было тридцать два года тому назад. Я приехал после Берлинского университета в Петербург—не то доучиваться, не то искать применение своим силам. Мне хотелось писать и печататься, но ни литературных знакомств ни практического опыта у меня не было, и я ограничивался усердными штудиями в Публичной библиотеке и вялыми попытками напечатать что-нибудь. Так—в промежутке между „Стилем“ Земпера и „Историей эстетики“ Лотце—я написал небольшую лирическую статью о Герцене, которую послал в „Русскую Жизнь“. Напечатана она не была, и я до сих пор с удовольствием вспоминаю беспомощное недоумение, с которым секретарь редакции, благожелательный Ф. Ф. Трозинер, говорил, возвращая мне рукопись: „Да почему вы думали, что цензура позволит в таком тоне говорить о Герцене?“ Больше повезло мне в „Северном Вестнике“, куда я отправил заметку о только что вышедшей посмертной книге Потебни „Из лекций по теории словесности“. Не всем я был доволен: заметку сократили, причем жертвой сокращений пала также моя подпись; анонимность сама по себе мало меня огорчала, но моего разрешения не

спросили, другие критические заметки были подписаны, и мне это казалось ненужным своеволием. Я все-таки решил поехать в редакцию „Северного Вестника“ и поговорить о дальнейшей работе в журнале.

Отношение мое к его направлению, к этой борьбе с шестидесятыми годами, которую вел здесь фактический редактор журнала, было двойственное. Не только с писаревщиной я разделался еще в гимназии, но и эстетика Чернышевского мне представлялась тогда теоретическим недоразумением. Волюнский во многом был хоть и не оригинален, однако, прав. Но он вел свою полемику так безоглядно, так анти-исторично, так бестактно, он с такой грубостью нападал на людей, к деятельности которых я относился с глубоким уважением,—таковы были не только Белинский, но и Салтыков и Михайловский,—что самая правота его казалась неприятной. Он был свой, он был боец своего лагеря, однако—компрометирующий „святое дело“.

Мне и моему молодому кружку он казался решительным, но неудачным и запальчивым выразителем того умонастроения, которое мы „восьмидесятники“, не отказывавшиеся от наследства шестидесятых годов и искавшие лишь некоторых его модификаций, позволяли себе довольно нелепо называть в своем кругу „разумным индивидуализмом“. Вот к выразителю этого „недостаточно разумного“, „антиобщественного“ индивидуализма я и ехал, быть может, не без тайной мысли поспорить с ним о некоторых важных для нас обоих,

казалось мне, предметах. Я чувствовал себя кой в чем довольно хорошо подкованным, так как после лекций Потебни, разговоров с А. Н. Веселовским и особенно двухлетней учебы на Западе мне был ясен научный путь, которого не хотела знать наша ходовая эстетика как правая, так и левая, как декадентская, так и радикальная, равно бессодержательная, глубоко провинциальная. Мне хотелось столкнуться.

В редакции однако мне удалось перемолвиться с А. Л. Волинским лишь несколькими деловыми словами, после которых он предложил мне зайти к нему в ближайшее воскресенье днем, когда может, сказал он, состояться и более общий разговор. Он жил в меблированных комнатах, на Тройцкой, этажем выше помещения редакции, в обстановке аскета, богемы, человека духа, как прожил всю жизнь. Я застал у него небольшое общество очень молодых людей, среди которых выделялись два гимназиста в серых форменных курточках. С снисходительной улыбкой, слегка поддакивая, слушал А. Л. Волинский резкие нападки одного из них на радикальную литературу, особенно на Добролюбова. Я тут же узнал, что юноша нападает на своего однофамильца: это был один из ранних символистов, известный впоследствии поэт, мистик и сектант Александр Добролюбов; товарищем его был одноклассник и друг Влад. В. Гиппиус, также поэт, критик и впоследствии известный петербургский педагог. Говорили о современной литературе, причем один

из присутствующих удивил меня резко отрицательным отношением к Мережковским. Мне казалось тогда, что Д. С. Мережковский—это не очень оригинальный, но очень благородный писатель, который по существу не может вызывать никакого пафоса в оценке как положительной, так и отрицательной. Впоследствии я увидел, что ошибался, как в одном, так и в другом.

Общего разговора однако не вышло, так как молодежь скоро удалилась, и мы остались с хозяином вдвоем. До спора все же не дошли и мы: нельзя было назвать спором тот патетический взрыв, которым Волинский ответил на мои попытки указать—не то что на неправильность его общей позиции, но на те или иные частности. Человек абстракции, он вообще не хотел и не мог знать конкретное. Он жил своей идеей, из которой, как в логической машине, дедуцировалось все сущее. К тому же в этот момент он был истрепан журнальной и газетной политикой, и каждое замечание, даже клонившееся к его поддержке, воспринимал как неосторожное прикосновение к открытой ране. В качестве собеседника,—если можно назвать собеседником человека, способного лишь к монологу,—он производил более сильное и, я бы сказал, более благоприятное впечатление, чем в литературе, и ни одна его писанная строка не могла быть сильнее того просто стихийного натиска, который был в его патетической импровизации. Он не хотел знать, но он умел верить, и прежде всего верить в себя. С невыразимым самомнением, которое

могло казаться смешным раньше и позже, но должно было захватить в момент страстного излияния, он провозглашал свою правоту и уверенность в том, что будущие поколения оправдают его.

По-своему они его оправдали. Книга о русских критиках осталась мне чуждой и неприятной, но в позднейшие годы я не раз встречал людей, более молодых, на которых она в свое время произвела не только хорошее впечатление, что не так важно, — но и хорошее действие. Из нее они узнали то, что мы знали без нее, и взяли из нее то ценное, что из нее можно было взять. Он видел только это ценное, он хотел, — что в русских политических условиях было трудно и в лучшие времена и для более сильных, — отмежеваться и от правых и от левых. Он был безогляден, самоуверен и непримирим, явно не соразмеряя своих возможностей со своими задачами. При этом меньше всего он был человеком сплоченного действия. Не мудрено, что и ближайшие соратники Волынского скоро вслед затем ушли от него — ушли больше по личным, чем по идейным соображениям; меньше всего сам он годился в соратники. Один ядовитый общий наш знакомый, земляк и даже свойственник Волынского как-то заметил: „У Акима нет друзей: у него есть только поклонники“. И, действительно, вокруг этого человека, сыгравшего роль в создании новой группы, но не подходившего ни для какой группы, стали собираться люди, способные смотреть на него только снизу

вверх. Не только они его, но и он их удовлетворял ненадолго, и он оставался опять в одиночестве, вне какого бы то ни было объединения равных.

Эта встреча произвела на меня решающее впечатление. Волынский предстал предо мной как окончательно чужой, скорее как противник, но противник, с которым невозможно сталкиваться. С одной стороны, слишком очевидны пороки его общественно-литературной позиции; с другой стороны, слишком очевиден его искренний пафос, его бесспорная внутренняя порядочность во всех общественных и политических промахах, которых так много накопилось в его пассиве. Каков бы он ни был — этого нельзя забыть — он был честный писатель; он не играл словом ни своим ни чужим. Хвалил ли он или порицал, он не отступал от того, что ему представлялось действительностью. Эта действительность была отвлеченна, для нас она была скорее продуктом воображения, но для Волынского это была действительность. Он читал писателя под гнетом своей идеи, но он не выискивал у него того, что лишь с грубой натяжкой можно подвести под эту идею; он не выводил своих узоров на чуждой им ткани чужой мысли. Как бы яростно он ни обличал человека или идею, он не играл цитатами, не подтасовывал, был ли он прав или неправ, он во всю ширь раскрывал свое знание, и это было его главное оружие: в борьбе духовной возможно и такое. Таким он предстал предо мною во время первого — в сущности единственного —

нашего свидания, таким он остался после многолетнего пробела в моей памяти. Мы мало встречались после этого и лишь изредка, столкнувшись в литературном салоне Н. З. Дризена или в партере на какой-нибудь премьере, обменивались мимолетными словами.

По иронии судьбы однократное сотрудничество под редакцией А. Л. Волынского механически привело меня в стан его противников. В редакции „Северного Вестника“ увидел одну мою статью, потерявший меня из виду, П. П. Перцов, с которым мы в студенческие годы свели знакомство в Ялте. Он уже выступал в литературе и еще недавно напечатал в „Русском Богатстве“ статью о Чехове, где обличал писателя в недостаточном цивизме, но теперь решительно отрекался от тенденций своей статьи и уже склонялся направо, к „Новому Пути“ и дальше. Это пока не мешало ему сохранить добрые личные отношения с деятелями „Русского Богатства“ среди которых высился Н. К. Михайловский. Здесь я был легко принят, как свой, сговорился о ближайших темах и вошел в журнал, где оставался вплоть до его прекращения.

А. Горнфельд

IN MEMORIAM

Малого роста, очень худой, как бы высохший, тонкая кость, прозрачная, желтоватая, будто старый пергамент, кожа—изошренная нервная ткань.

Высоко и гордо несет свой резко вычерченный, израильтянский профиль.

Лицо, — испепеленное, очень подвижное, по-своему прекрасное. Высокий, узкий лоб. Серо-голубые, сосредоточенно-острые глаза. Чувственные, хотя и бескровные губы. Нервная, чуткая рука.

Горькая и едкая улыбка. Горькими линиями исчерчено все лицо — у глаз на щеках, у рта.

Резкий, сухой голос. Приподнятые, одические интонации...

Таким запомнился внешний облик Акима Львовича Волынского.

В нем было много от средневекового католического монаха—аскета и фанатика.

Европейский светский костюм сидел на нем мешковато. Единственный черный, длинный, наглухо застегнутый сюртук больше походил на монашескую рясу. Не было бы странно, если бы он подпоясался грубой веревкой.

Кто он—смиранный доминиканец, прозелит Саванароллы или верный слуга святейшей инквизиции? — Скорее — последнее.

В личном дружественном общении с Акимом Львовичем это внешнее впечатление углублялось и дополнялось новыми чертами.

Огромная многосторонняя образованность. Блестящий собеседник. Мастер живой, искрящейся, может быть, слишком цветистой фразы. Большой интеллектуальный темперамент. Неутомимая жажда знания. Цепкость, упрямство и бесстрашие мысли — крылатая мысль. Недаром воспитался он на Спинозе. Порою казалось, что весь Волинский—это неутомимый и всевластный мозг, сложнейшая диалектика идей и теоретических контраверз.

А в целом — какая крупная, колоритная и своеобразная фигура. Не литератор, а творец. Не философ, но мыслитель.

И во всем и всегда—аскет, фанатик и герой.

Таким пришел он, пылкий еврейский юноша, в русскую культуру. Таким оставался он все 63 года своей жизни. Люди этого типа и строя—неудобные, неуютные люди. Им как бы предрешена тяжелая и колючая жизнь. Другую и не могла быть жизнь Волинского.

Крайнее одиночество. Бешеная травля врагов. Огромные личные лишения. Бездетность. После закрытия „Северного Вестника“ ему негде писать; двери

всех редакций для него закрыты. Его систематически замалчивают или, в лучшем случае, мимоходом глумятся над ним. Так проходит почти 20 лет.

Все это сумел перенести Волинский. Конечно, нельзя и не должно всю тяжесть вины возлагать на его врагов. Он сам рождал и вызывал бури. Фанатизм Волинского делал его субъективнейшим и, может быть, самым нетерпимым и несправедливым из русских критиков. Его книги „Русские критики“ и „Борьба за идеализм“ полны парадоксов и ошибок пристрастия. Полемический жар и молодой задор доминируют в них над истиной. Это — „книги великого гнева“ и страстной борьбы, а не спокойных размышлений и объективных оценок. Понятен ответный гнев и Михайловского и Плеханова на „новую мозговую линию“.

Во всей этой полемике, ставшей уже достоянием истории, не было замечено, однако, что Волинский—отнюдь не „декадент“, а классик. Давши в „Северном Вестнике“ первый приют модернистам, он в то же время далеко не обольщался их художественными достижениями. И тут опять-таки он был законодателем личного вкуса. Философский идеализм Волинского восходит также к классическим традициям.

И с годами это тяготение все больше и глубже укрепляется в нем. Даря мне в 1923 году одну из своих статей, он сделал на ней следующую надпись: „Только то настоящее хорошо, которое строится

на камнях прошлого. Разрывы с прошлым все более или менее эфемерны".

Не должны казаться неожиданными и странными подобные заявления в устах восприемника нашего художественного модернизма. Для Волинского новое искусство было дорого не как выражение декадентства и сумерек индивидуализма, а как средство прорыва сквозь натуралистическое бытописание 70—90 годов к подлинным классическим традициям русской художественной культуры.

В этом же плане он вел борьбу не на жизнь, а на смерть с публицистической критикой во имя критики философской в духе идеализма Рекмера.

Классика же была основным стимулом и в трудах покойного по изобразительному искусству. Здесь в центре его внимания стояли великие мастера Возрождения Леонардо да-Винчи, Микеланджело, Рафаэль и, наконец, в последние годы — Рембрандт. Превосходный труд о первом из них и еще неизданная монография о последнем — спелые плоды этих многолетних и напряженнейших штудий.

Припоминаю фрагменты, которые читал мне Волинский из этой последней работы. В них все было спорно — и метод, и общие установки, и отдельные суждения. Но не мог не пленять и не радовать неудержимый полет мысли, своеобразнейшие анализы и обобщения. Волинский умел быть на уровне, если не конгениальным тому, о чем

он писал. Даже ошибки его, — а их очень много, — даровиты.

И, наконец, балет, пленительное искусство Терпсихоры — третья область основных интересов Волинского.

Для него балет был не только искусством танца, но пластическим видением золотого века классики. Он был влюблен в него с обычным фанатизмом и необычной трогательностью. „Книгой ликований“ назвал Волинский свой основной труд по балету. И не Новерром ли XX века следует назвать его самого?

Литература, изобразительное искусство, балет — основное, центральное. Но это — далеко не все. На периферии духовных интересов Волинского — философия, религия, общественные науки. Он бросался на знания, как лев на добычу. Интересы его были беспредельны. И в то же время в каждую свою работу, в каждый свой интеллектуальный роман вместе с трепетным пылом любовника он вносил исключительную честность и добросовестность ученого. Интеллектуальная совесть никогда не умолкала в нем.

И потому у его мыслей, теорий и книг есть и крылья и ноги. Они, взвиваясь в бесконечные дали, умеют прочно ходить по земле.

„Крылатый вол“ — хочется сказать о Волинском словами Гоголя.

П. Медведев

ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ А. Л. ВОЛЫНСКОМ

Я познакомился с Акимом Львовичем в 1916 г., когда судьба довела его до Проппера: он заведывал литературным отделом „Биржевых Ведомостей“. От него уже тогда веяло сухим жаром пустыни, и мне было жутко смотреть на него и слушать его нервную и странно-торжественную речь. Я тогда же понял, что сколько бы нас ни сталкивала жизнь—мы никогда не заговорим о главном и никогда не сблизимся. Я чувствовал, что дух его преисполнен таким глубоким и испепеляющим фанатизмом, что приблизиться к нему—значит стать его учеником, его знаменосцем. Я постарался скорее уйти из душной, как мне показалось, комнаты „литературного отдела“, хотя Аким Львович говорил мне комплименты.

Жизнь, ставшая скоро после этого свидания фантастической, сталкивала меня с Волынским несколько раз—и в самых разнообразных стилях. Помню его на пятилетней годовщине Ленгиза, помню встречу с ним на кухне Дома Искусств, помню его на юбилее Федора Сологуба в Александринском театре. Фанатизм его духа и фантастичность тогдашней жизни вступили в какой-то своеобразный союз—имя Волын-

ского стало звучать как-то по-новому. В Доме Искусств (на Мойке), который был тогда Ноевым ковчегом для спасающихся от потопа писателей, Волынский казался самым Ноем, кормчим этого углого судна, неизвестно куда плывущего. Шкловский жил там наверху веселым юнгой—пел, писал, шутил и помогал. А внизу, в большой комнате, беззвучно жил Волынский: не писал, а мудрствовал, как чернокнижник, над древними текстами—изучал Евангелие и античные танцы. Ему необходимо было что-то доказать, чему никто не верил. Но это казалось очень важным, потому что было фанатично и фантастично.

Волынский вдруг очутился под одной кровлей с молодежью, которая мало знала о нем, но слышала, что он—„почетный гражданин города Милана“, что он писал о Достоевском и о Леонардо да-Винчи и о балете. С ним обходились, как с сохранившейся от древности статуей, а иногда—и как с оракулом. Он был странен, беспомощен и часто жалок, но речь его ошеломляла своей не совсем понятной, экзотической страстностью ветхозаветного еврея, прошедшего сквозь все века и цивилизации, страстностью „вечного жида“, сосредоточенной в одном органе—в головном мозгу. Пульсация этого фанатического мозга казалась и ему и другим жизнью.

Потоп схлынул, жизнь перестала быть фантастической, Ноев ковчег опустел. Волынский стал директором Хореографического техникума—в том же доме, но

не с Мойки, а с Морской. Он писал в „Жизни Искусства“. Это было уже не фантастично. К нему относились, как к „спецу“ — и только. Над входом в его техникум уже загоралась реклама „Светлой Ленты“.

Лента его жизни оборвалась и осталась непонятной. Начало забыто, конец не ясен. Когда-нибудь нам еще придется подумать над этой загадкой.

Б. Эйхенбаум

СТАРЫЙ ЭНТУЗИАСТ

Существует статья А. Л. Волинского — предисловие к нашедшей в свое время книге Отто Вейнингера, „Пол и характер“. В этой статье Волинский объясняет логические ошибки молодого немецкого писателя, указывает на его страстную бунтарскую натуру и говорит о живом стремлении его, как и всякого глубокого человека, вырваться из тесных пределов не только личного своего „я“, но и своего народно-индивидуального, национального „я“. „Современный человек, — говорит Волинский, — слишком утомлен националистическими культами, он уже изведal все дурманы самовлюбленности, все патриотические пафосы, распаляющие злокачественную народную вражду“. „Там, где мы видим такого рода внутренние тенденции, даже сквозь туман сбившейся, заблудившейся логики, мы не можем не приветствовать душу, которая своими обличительными воплями стремится человека или общество к нравственному совершенству, говоря прекрасными до гениальности словами А. С. Хомякова“.

Эти мысли Волинского ярким светом озаряют все оставленное им наследство — этот огромный лите-

ратурно-научный материал. И через его творчество выкристаллизовывается и блестит драгоценным многогранным камнем страстная бунтарская натура, повсюду в каждой строке своих книг пророчески указывающая будущий светлый день. В предчувствиях этого дня в предвидении будущего единения человечества писатель сам стремится выйти из пределов индивидуально-национального „я“, стремится как мыслитель, как старый энтузиаст и обозреватель эпохи Возрождения.

На протяжении всей жизни во всех работах по разным областям искусства от „Русских критиков“ до „Рембрандта“, в своих разборах и изучениях трудов художественных гениев Волынский по существу занят только вопросами философии, великими, общечеловеческими идеями человечества, далеко отходящими от всего узкого и индивидуального. В маге Ренессанса Леонардо да-Винчи его захватывает проблема гениальности. В Настасии Филипповне, в Джоиконде его интересует проблема женской души. „Высшая натура, — говорит он о героине «Идиота», — не может не пугаться, не ужасаться при виде этого разлада в себе самой, потому что в таком разладе, в таком раздвоении она постигает глубоким самоощущением великую для себя трагедию, великое испытание для своих духовных сил“.

В посвящении своего „Царства Карамазовых“ матери критик сам признается: „Улавливая свою связь с тем, что безлично и всемирно, невольно боишься

опустить из вида тот маленький мир своего происхождения и существования, в котором все лично, тепло, колоритно“. В то же время мы находим в разборе „Идиота“ следующее: „Рагожин и Мышкин были разьединены жизнью, потому что жизнь тем, что есть в ней личного, самолюбивого, страстного, разъединяет людей“.

У меня есть письмо от Волынского из Белой Церкви, куда, судя по всему, он был вызван по семейным обстоятельствам. „Как видите, я опять в Белой Церкви. Приехал я сюда из Афин. Не пришлось по разным обстоятельствам довести до конца начатую там работу, столь для меня важную, и на мое теперешнее, в начале лета непредвиденное, пребывание здесь смотрю почти как на несчастье. Я ведь в Греции, на Акрополе. Столько лет я пишу, тружусь, копаюсь в музеях и архивах, но верьте мне, никогда еще не сходила на меня в работе научной и литературной такая благодать восторга, какая охватила меня в Афинах. Я рыдал на Парфеноне, целовал его белый понтийский мрамор. И что-то большое, новое, свежее и освежающее пролилось в мою душу, и я вижу впереди работу, о которой прежде и не помышлял, но без которой шагу нельзя ступить в сфере тех идей, которыми я все время живу“.

Человек, рыдающий на Парфеноне и целующий его мрамор, человек, считающий, что личное разъединяет, далек, конечно, от своего дома, от своего нацио-

нального или это национальное, этот колоритный мир уже слишком стали его плотью, слишком он этим насытился. Так, вероятно, и было: юность Волинский провел в изучении древне-еврейского языка, библейской и талмудической мудрости и затем от этой пристани направился к всечеловеческой.

„Изучая Достоевского и его гений, страшно народный и делающий честь русской народности,—говорил Аким Львович,—я не чувствовал никакого препятствия для сердечного слияния с ним“.

Это сердечное слияние бросается в глаза при чтении его труда о Достоевском, причем в книгах великого писателя Волинский особенно ярко видит и отмечает указания на пути к истине, полагая в этом весь смысл творчества Достоевского.

Эти основы дороги, важны Волинскому. Вопрос об обновлении искусства и жизни более всего интересует его, более всего дорог ему. Ему кажется, он верит и убежден, что жизнь встанет на новые исторические дороги... Она встанет на эти новые пути при просветлении сознания народа „идеями высшего порядка“, а эти идеи почерпаются из „экстазов души, полных разума и окончательной причины, как выражается Достоевский“.

Великий процесс жизни с его политическим, научным творчеством, художественное изображение его требует прозрения и титанических трудов. Этим трудам отдают свои силы выдающиеся люди всех наро-

дов. К этому жертвеннику через музеи, архивы и Парфенон всегда устремляется и А. Л. Волинский. Сколько лет жизни он отдал одним только исследованиям о Леонардо да-Винчи! Этот труд, сделанный на эмпирических основаниях, как говорит он, со всеми возможными проверками, труд, в котором вместе с материалами эпохи Возрождения, вместе с легендой о Леонардо да-Винчи, с научным трактатом об его умственном гении, со страницами о состязании между Драконом и Магом Ренессанса, с главами об его учениках, последних чудесах его изобретательного гения, о Джиоконде, отражении кудеснической души великого художника с ее демоническими безднами, автор ярче всего зажег огонь служения единой для людей красоте.

В своем стремлении к великому, общечеловеческому, в своем идейном уходе от „личного“ писатель был понят и оценен лучше, чем своими сородичами, потомками деятелей Ренессанса, избравшими его гражданином г. Милана.

К сожалению, это был исключительный момент в жизни А. Л. Волинского. На своей родине он остался менее известен, чем того заслуживал. Для читателей были непонятны кажущиеся противоречия его книг. Идеиные противники не брезговали преувеличением в глазах читающей публики этих мнимых противоречий. Автор остался чуждым большинству русского общества.

Таким образом, Волинский, неустанно работая, переживал очень много нравственных страданий. Над ним проносились, как говорил он, враждебные вихри. Его называли декадентом, последователем Ницше, эстетом. Он не делал попыток оправдываться, так как всегда считал, что возражать можно только при столкновениях с людьми на чисто идейной почве.

Общечеловеческие, идейные искания, служение литературе Волинский больше всего любил в родной ему русской почве, в русских горениях Достоевского, Толстого. „Именно на русской почве, мягкой и рыхлой по сравнению со скалистыми почвами других народов, именно при болотистом русском бездорожье в противоположность ровным шоссе-ным дорогам иных культур сатане не удастся разгуляться. В душе русского притаилось что-то детское, божественно-доброе и наивное, чего не преодолешь никакой силой. Мягкая благодатная стихия розлита здесь повсюду...“

Толстого, величавый эпос русского Гомера, он любил не менее Достоевского.

— Кого вы любите больше, Толстого или Достоевского?—спросила я его однажды.

— Когда читаю Достоевского, больше люблю Достоевского, когда читаю Толстого, больше люблю Толстого...

Этот ответ я не приняла всерьез и сочла полушуткой, но вот статья „Новая волна“, это как бы послесловие к трудам о Достоевском.—„Я хочу сказать,—

пишет Аким Львович,—что русский народ станет достойным своих художественных гениев и создаст для их духа, так сказать, социальную кровь“. Между этими двумя противоположными гениями,—пишет он в другом месте,—возможно высшее примирение, возможен синтез идей Толстого и Достоевского“.

Кубок русской литературы в служении Волинского общечеловеческому оказался для него наиболее сладким и утоляющим его жажду. Он сильно действовал на его страстную бунтарскую натуру. Ему больше всего „любится русское наивное сердце с его благодатной влагой, которая не дает ему выгореть до конца“, любит русский народ.

Нельзя не отметить, что порой, вспоминая теплый колоритный мир своего происхождения, мать, научившую его богофильству, представив великое, общечеловеческое в родной своей национальной окраске, Волинский делает как бы движение назад, как бы одергивает себя и только что произнес горячие слова, отказывается от них.

Но и во всех этих разбегах, во всех исканиях, пафосе и наконец, в возврате к старым иконам — перед нами выдающийся человек, яркий талантливый, всегда верный себе непреклонно искренний.

Смерть писателя примирила всех и все сознали, какого борца за красоту и истину в искусстве потеряло искусство. К сожалению, во всей мере таланта и трудов Волинский не был никогда оценен. Сам он

о своих книгах и трудах не упоминал, точно он никогда ничего не писал. Мне рассказали однажды, что какой то критик, на вечеринке под влиянием высоких градусов алкоголя упал перед Волинским на колени.

— „Простите, в моей книге я обокрал ваших „Русских критиков!“

Сцена произошла при Мамине-Сибиряке. Тот хлопнул Волинского по плечу.

— „Эх, Акимушка, не ты первый, не ты последний!“

Волинский никогда не жаловался на свою тяжкую литературную судьбу, но в одной из его книг мы находим такие слова: „Тот, кто прошел через свою личную внутреннюю трагедию и достиг новой цельности в своем пафосе, раскрыл перед собой новые истины, тот неизбежно окажется в оппозиции не только к прошедшему, но и к той современности, которая еще держится на прошедшем. Он оказывается оторванным от массы, одиноким. Люди видят, что он не похож на них и не могут ни уважать ни простить этого различия. Со всех сторон он ощущает колючки жизни и скорбит и чувствует горечь. Но дух его не угашается в этих страданиях.“

Из посмертных речей, сказанных у гроба, и перед могилой старого энтузиаста, слышались слова: „Гений, святая душа“, из статей, написанных о нем, видно что дух писателя не угасал в страданиях, не падал от ударов жизни, а рос, подымался.

Большое наследство, много ярких воспоминаний. Трудно сразу обозреть покинутую писателем ниву его трудов, все эти налитые колосья. Джордано Бруно говорит, что человек, если захочет, может подняться до самого неба. Не рассказано ли про такие поднятия до неба в строках, которые мы читаем?.. „Чтобы понять такого человека, как Леонардо да Винчи, надо видеть собственными глазами Италию... Надо знать Тоскану, Флоренцию с ее окрестностями, Винчи, Анкиано, надо изъездить на лошадях дикую Романью, чтобы ощутить атмосферу, которой дышал этот итальянский гений... Уже расставаясь, может быть, навсегда,—пишет Волинский далее,— с этой многолетней работой, я вспоминаю, как о пережитом счастье эти мои скитания по Италии в поисках Леонардо да Винчи. Там, как бы в невидимом присутствии одного из величайших чародеев искусства, рождались непередаваемые экстазы, которые здесь, при исполнении работы, отражались на бумаге уже побледневшими, но все еще живыми соками питали мою сильную работу...“.

Именно в образе этого старика без определенных черт какой бы то ни было национальности,—заканчивает свое предисловие ко второму изданию Леонардо да Винчи Волинский,—но проникнутого религией человеческого сердца, которая по своему всемирна, всечеловечна, я пытался передать лучшие настроения, возникавшие на пути моих критических изысканий“.

При воспоминании об Акиме Львовиче невозможно не рассказать об его таланте речи. О красноречии Волинского, помню, когда-то была напечатана большая статья в „Биржевых Ведомостях“. Этот дар придавал его литературной физиономии нечто романтическое. Под пером романиста такой человек мог бы дать очень значительную фигуру героя. Какой-то из беллетристов и описывал его. Фонтан его огненных слов действовал, как гипноз. Речь его являлась часто откровением. По уменью прожечь, как бы молнией мысли, — оратора, равного ему, трудно было встретить. А моментальные метафоры, а внезапные рождения художественных деталей! „Ему быть бы трибуном!“ — сказала одна из его случайных слушательниц.

Начинала обыкновенно закипать эта речь совершенно неожиданно. Какой-нибудь маленький вечерок или случайное собрание литературных людей, артистическая компания, группа друзей или читателей, — Аким Львович любил такие вечера с их неожиданно возникающими идейными темами, горячими спорами, все равно о чем — прошлое или современность, искусство или наука, четвертое измерение, женщина, Ницше... Как мяч, брошено кем-то слово. Оно возбуждает сомнение, желание пояснения. Волинский выразил тихим голосом желание сказать на тему... И вот все уже стихли, смолкли, придвинулись к нему поближе...

В словах Акима Львовича тема точно загоралась. Из брошенного зерна разрасталось живое существо.

Слова ковались значительные, суровые. Слушатель увлекался этим талантом, даже не соглашаясь с оратором, верил ему. Одна из таких блестящих речей была сказана Волинским перед деятелями театра Комиссаржевской и ею самой в период, когда Аким Львович был заведывающим репертуаром в этом театре.

Наша светлая привязанность друг к другу, как бы сестры и брата, началась много лет тому назад, так много, что при встрече Аким Львович иногда спрашивал: „Ну, что же, отпразднуем наш десятилетний юбилей“ и затем через ряд лет снова: „Теперь уже надо поднимать бокал во славу нашей пятнадцатилетней дружбы“. Он называл наши светлые отношения дружбой, не ища других слов. И я думаю, так можно было назвать их.

Мне было ясна чистота идейной борьбы этого человека, были видны его скрытые муки и не укрылась конечно, его титаническая вера в себя. Глубоко сочувствуя втайне истерзанному сердцу его, я не уставала выражать одобрения его трудам, его личности. Сколько благодарности было в его отношении ко мне, видно из одного его небольшого письма. «Вниманию вашему я рад по-старому. Даже больше того: я горжусь им, как одной из лучших ценностей на пути моей тяжелой литературной карьеры».

Я имею от него до тридцати небольших писем. Разумеется, он не мог быть другом обыкновенным, изливающимся в своих душевных переживаниях, ищущим

щим какой-то опоры. Для этого он был слишком силен нравственно, к тому же вечно занят; всегда в работе. Но с какой нежностью неизменно благодарит этот, якобы сухой, человек, за чуткое, внимательное отношение... Он постоянно пишет о дружбе, верной и безмерной. На подаренной мне „Книге ликований“ его рукой начертано: „В знак старой и неизбывной дружбы“.

Расскажу о нашей первой встрече. Был вечер у одного из писателей, вернее вечеринка, одна из таких вечеринок, какие, как я говорила, любил Аким Львович. Это было время, когда в старом дореволюционном Петербурге собирались очень поздно. На эту вечеринку некоторые гости пожаловали только часам к двенадцати. Мы уже сидели за столом. Помню, пришли артисты Бравич и Ходотов, известный священник Григорий Петров, и я увидела еще одно незнакомое мне лицо. Худощавый, бледный и бритый человек с римским профилем, похожий на ксендза и с настолько впечатленной на этом лице работой мысли, что на ум приходил, действительно, Савонарола. Я спросила писателя — драматурга Косоротова, сидевшего рядом, кто это такой.

— „Вы спрашиваете про этого папу Льва XIII?“ — улыбаясь, воскликнул Косоротов. — „Да неужели вы не знаете — ведь это же известный Волинский!“ — прибавил он.

Надо сказать, что я о Волинском знала и раньше, так как читала его статьи в „Северном Вестнике“ еще

в бытность мою на Бестужевских курсах, но в те годы на мне, как и на многих, сказывалось влияние симпатий „Русского Богатства“. Однако-же, в ближайшее к тому вечеру, о котором я рассказываю, время имя Волинского стало мне часто попадаться, и незадолго перед этим меня позвали на маленький литературный вечерок, причем хозяйка дома мне сказала буквально так: „Приходите, у нас будет Волинский.“

Едва пришли поздние гости, сразу разгорелась интересная тема — „Горький“. Сам хозяин и многие присутствующие говорили о создателе босяцких типов и авторе „Челкаша“, но с какой-то неуверенностью и недоговоренностью, и мне, бывшей в этом обществе в первый раз, казалось странно, что все поглядывали в сторону интересного, оригинального человека, слушавшего жадно и задумчиво. Человек этот был А. Л. Волинский. Теперь из памяти моей уж изгладилось содержание речи, все отдельные аэролиты этого звездопада. Вообще, передать своими словами речь Волинского не было возможности — так ствол ее украшался ветвями и пышной листвой словесных красот, недолговечных, как всякое устное творчество. Сам А. Л. никогда не мог вспомнить, как и что он говорил, Помню только, о философии Ницше он сказал, что идеи его Заратустры не охватывают всего человечества, не космичны.

— „Как чудесно вы говорите!“ — сказала я ему, когда этот ураган слов затих.

— „Не хвалите меня за мои речи, лучше прочтите хотя бы одну из моих книг“, — в этот единственный раз, видимо, невольно вырвалось у писателя.

Первая книга, прочтенная мною, была „Книга великого гнева“, названная так за свою статью о „Бесах“. Первою в теме, объединенном этим названием, была статья: „Что такое идеализм?“, затем несколько статей о современной русской литературе, несколько необыкновенно ярких характеристик Толстого, Чехова, Короленко и других, любовно написанных. Перед статьями о „Бесах“ было предпослано предисловие. „Введение к Книге великого гнева, Иона“. Это введение вошло в том „Достоевский“. В нем Волинский описывает картину английского художника, символиста Уоттса. Иона предсказывает гибель Ниневи. „Смотря на эту картину, — пишет Волинский, — невольно вспоминаешь автора «Бесов» с его великим гневом и великим исступлением по отношению к Европе и неправославным народам. Он тоже мечет пылающую смолу во все то, что находится за чертой его византийского кругозора, тоже верит в исключительную богоносность своего народа“.

Но „в его искусстве, — говорит критик дальше, — веет благими всечеловеческими идеями...“ и хотя „он, как Иона, хотел отнять пророческую благодать у других народов, а между тем своим мощным искусством послужил человеку вообще, т. е. всем народам без различия национальных подразделений. Он послужил

вселенскому богу, божеству, которое, как солнце, пригревает и малых и великих, и правых и виноватых, выращая побег новой жизни“.

Теперь, после русской революции, можно уже с Волинским не соглашаться, не соглашаться с его критикой взглядов гениального нашего провидца на Европу. Сам же Волинский много раз в последние годы обращался к „Подростку“ и цитировал Версилова, просил как-то и меня прочесть некоторые из речей Версилова. Видимо, он склонялся кое что из взглядов Достоевского в этой области принять. Статьи его о „Бесах“ появились много раньше.

Я прочла „Книгу великого гнева“ и увидела и почувствовала в авторе и философа, стремящегося к новой справедливой жизни, к бесконечному благу, и мечтателя, лелеющего надежду на спасение жизни от уродства и пошлости одухотворенной красотой. Я написала Волинскому об этом впечатлении, чем, кажется, бесконечно порадовала его. В том же письме я попросила его бывать у нас и этим положила начало нашим прекрасным встречам, большей частью на маленьких вечеринках у нас за столом.

На вечеринки эти А. Л. чаще всего приходил с Молоствовым. Это был истинный друг и почитатель Волинского и человек кристально чистой души. Самые злые и талантливые выдумщики темного и скверного о людях не могли найти маленького пятнышка на нравственной физиономии этого человека. Дружба Волин-

ского с ним была слиянием большого ума с большой душой. Волынский доверял душевной прозорливости и глубокому такту своего друга бесконечно.

Однажды они оба приехали ко мне в Лесной. Шел дождь, они приехали промокшие, но веселые и бодрые. Аким Львович начал говорить славные, трогательные слова, ободряемый ласковым светом в глазах Молостова. Я засуетилась, потарапливая прислугу скорее приготовить самовар. Волынский рассказал что Савина однажды выразила смущение, угощать ли, как гостя его, человека, живущего, кажется, лишь в сферах возвышенного? „Я стал просить, — рассказывал Аким Львович, — пожалуйста, угощайте меня, Марья Гавриловна!“ — Мне вспомнились хлопоты об угощении учителя евангельской Марфы, и я заметила, что она, по всей вероятности, тоже любила Иисуса и, может быть, не менее Марии. В ответ на это Волынский, как про него говорили шутливо, „зашелся“ и сейчас же стал доказывать, что, действительно, евангелие обижает Марфу. Нас остановил Молостов, сказав, что все-таки на Марфу налагает довольно глубокою тень то, что она исчезала в суетливых хлопотах о земном куске хлеба в чудные возвышенные моменты учения.

Мне кажется, что я сейчас еще вижу балкончик, на котором втроем за чашками чаю мы вели нашу беседу, ставшую такой уютной и теплой под звуки дождя в непроглядно темную ночь. Слышу речь Волы-

ского о романе Сенкевича, слышу слова его об Аполлоне и Дионисе, а также и шутку о будущем человеке, который должен быть, как ему казалось в те добрые минуты, непременно сентиментальным...

Вслед за „Книгой великого гнева“ я прочла „Русских критиков“. Книга эта — блестяще собранный и изученный огромный литературный материал и интересные статьи об Аполлоне Григорьеве, Писареве и др.

Волынского упрекали, что он не учитывал того, что при всех своих художественных вкусах, Добролюбов и Белинский старались не упустить из своего умственного горизонта гражданского и политического долга, борьбы с монархией и старались подчинить идее этой борьбы литературу. Говорили с неодобрением, пагубным для критика „Северного Вестника“, об этом невнимании к политическим стремлениям, ограничивающим писания Чернышевского и Добролюбова известной рамкой. Увлеченный своими идейными находками, Волынский, действительно, как будто упустил эту черту и тенденцию русской критики. Недопустима мысль, чтобы он не знал настроений и идей русского общества. В объяснение приходится думать, что в тот момент он не мог выразить ясно свою солидарность в этом с противниками. Надо полагать, он утешался уверенностью, что всходы его поля отнюдь не заглушали, а только возвеличивали пышность посеянного идейными вожаками того периода русской мысли.

Но, вообще, в своих разбегах и пафосе он не боялся никаких нападений. Для его идей и правды в глазах его не существовало определенных политических моментов. Оставаясь, таким образом, верным себе, он оказывался пловцом против течения, и нельзя не оценить его энергию, — ведь волны поднимались и порой поглощали, как девятый вал, все его житейское благополучие. Но если и принять упрек в ненаучности в историческом смысле, критика Волынского не теряет своего философского значения.

Когда-то при выходе книги слышались великие недовольства на автора за сделанные им упреки талантливейшему критику русской литературы, Белинскому, в недостатке всестороннего широкого образования. Недовольные хотели обвинить Волынского в какой-то огульной хуле по адресу деятелей русской литературы. При этом забывались слова автора, что в тот же период истории Пушкин обладал столь глубоким «образованием, что казалось жил во все эпохи жизни человечества».

«Автор „Русских критиков“, — говорит Молоствов в своей книге „Борец за идеализм“, — воздал должное Белинскому и Добролюбову за их честный боевой темперамент. Если б эти люди встретились с Волынским, то они поняли бы, что это свой человек, хотя и позднейшей исторической формации».

Интересны свидетельства Страхова и В. В. Розанова в их переписке. Страхов в одном письме говорит, что

Мережковский в своей книге сказал, что Волынский есть ныне единственный воодушевленный критик, от которого можно многого ожидать. В примечании к этому письму Страхова В. Розанов пишет: «Волынский неудачный, но во всяком случае добросовестный писатель русской литературы. Его критика на 60-е годы была героична и в истории русской литературы никогда не может быть забыта».

Впоследствии странный бойкот с книги „Русские критики“ сам собой снялся, исчез. Книга уже рекомендовалась кой-где с университетских кафедр. Для историка литературы „Русские критики“ со своим материалом — драгоценнейший дар, для читателя — интереснейшая книга. В каждой странице эта книга волнует и своими темами, этими вечными темами мыслящего человека, и своей любовью к русской литературе, русскому писателю, русской стихии. В этом Волынский чувствуется везде. Всюду в нем дрожит эта чистейшая и сильнейшая струна.

Из последних встреч моих с Волынским, светло освещающих его личность, я вспоминаю те, которые происходили в правлении Союза писателей. В течение двух лет Волынский состоял председателем правления Союза писателей и один год мне пришлось еженедельно встречаться с ним. Недавно Ф. К. Сологуб сказал, что он был прекрасным председателем. Да, он был трогателен в своем сочувствии к нуждам членов Союза, в своем желании как-нибудь помочь.

Умер Волынский неожиданно. Все эти годы он не старел, не менялся, точно внешне застыл. Казалось, он долго останется бодрым, крепким, почти молодым с ясным, творческим умом. Он не боялся смерти. „Умереть — это перескочить через какую-то узкую щелку... Но только не внезапная и неожиданная смерть! Умереть внезапно, не продумав последних часов на земле, упустить это последнее, столь значительное, важное знание, — нет, только не так!“

Печален был диагноз врачей Обуховской больницы, куда был устроен А. Л. Здесь, благодаря дружбе с моим мужем, заведующим хирургическим отделением, профессором И. И. Грековым, он нашел теплый, заботливый приют и лечение. Диагноз стал известен за несколько дней до смерти: миокардит, полное пережатие сердечной мышцы... С этим припадком. может быть, больной еще и справится но... возможна скорая и внезапная смерть...

Так говорили врачи, и, все-таки, не верилось. Но час пришел. Аким Львович отбыл от нас... Он умер, не довершив, вероятно, многого, что мог бы сделать. В момент смерти мой муж был в больнице и он дружеской рукой закрыл глаза покойного писателя, как бы венчая дружбу, верную и безмерную, старую и неизбежную, как говорил когда-то Аким Львович.

Когда в день похорон я пришла в Союз писателей, я в первый момент от боли и тоски боялась взглянуть

на покойного. Но лишь в тумане печали я подняла глаза на его лицо, моя душа сразу точно протрезвела. Писатель лежал с чертами глубоких, напряженных дум, полный бесконечного желания что-то разрешить, понять, уяснить. Он казался настолько занятым своим обычным делом — мыслью, что мне мои слезы и горе вдруг показались чем-то мелким, ненужным и мешающим тому, что надо было ему обдумать. И невольно я вложила в свой ум те слова, которые он сказал бы, наверное, мне, если б мог. „Разве я не живу? Не мыслю? Хотя бы и в моих книгах? Одно важно: хорошо ли я выяснил Достоевского, все ли уголки объездил за Леонардо?..“

Горе друзей, всхлипыванье учениц школы, созданного им балетного техникума, не трогали умершего в его задумчивости. Что он обдумывал? Последнюю муку? Последнее знание здесь на земле? Получил ли он его, он, который так много накопил знаний? И было так понятно, что и в гробу лицо создателя огромных, почти необозримых трудов несло на себе печать глубокой, созидательской мысли.

На могиле Акима Львовича один из его друзей сказал мне: „Он похоронен в своем сюртуке, в котором ходил в гости. Это было его единственное имущество. Он был истинный коммунист“. Мысль об этом сюртуке, об этом единственном богатстве и трогательные слова, звучащие на могиле: „светлая душа“, вызвали в воображении прекрасный, печальный образ.

Перед глазами вставал неустанный путник, бредущий к прекрасным заповедным далям, упорно идущий, как Агасфер. О последнем покойный проникновенно вспоминал на страницах об „Идиоте“, отождествляя князя Мышкина с таким Агасфером молодой страны..

Елена Грекова

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ А. Л. ВОЛЫНСКОГО

17 июня мне передали, что Аким Львович очень болен и просит меня зайти к нему. Утром, около 11 часа другой день я застал Акима Львовича сидящим в кресле перед окном своей тяжело-каменной, холодной комнаты верхнего этажа бывш. Дома Искусств. Не видел я его около 3 — 4 месяцев и был неприятно поражен его болезненным видом: черты лица резко обострились, нос вытянулся, глаза на сине-бледном лице казались потускневшими. Сидел он, как всегда — прямой, в ночной рубашке, с одеялом на ногах. Встретил он меня так, как будто я был самым близким и дорогим ему человеком в мире. Но сейчас же перешел на торжественно-официальный тон.

— „Я думаю, что моя многолетняя литературная работа“, — говорил он, — „дает мне право рассчитывать на внимание моих товарищей по перу. Если бы я хотел, то мне стоило бы написать только два слова в Москву и малейшее мое желание было бы исполнено. Но я не хочу тревожить Москву по пустякам. Я хочу, чтобы вы просили от моего имени правление Союза писателей устроить меня немедленно, — это не терпит

отлагательства, — в санаторию в Детском Селе. Две-три недели — и я поправлюсь. Я совершенно здоров, но мне нужен отдых. Я вас очень прошу, сделайте мне это, и я вас увековечу“.

Говорил он прерывисто, усталым приглушенным голосом. Я успокоил его и обещал в этот же день сделать все, что было возможно,

Все время болезни, по возвращении из Москвы, где он заболел и откуда вернулся с тяжелыми отеками на левой руке и ногах, он находился на попечении своих сотрудников по техникуму, окружавших его посильным и заботливым уходом. От врачебной помощи он категорически отказывался.

На другой день, ни о чем не предупрежденный, Аким Львович покорно дал выслушать себя любезно навестившему его, по нашей просьбе, д-ру Секции научных работников, М. П. Кириллову.

После осмотра М. П. предложил нам немедленно устроить Акима Львовича в больницу, так как считал положение очень серьезным.

По уходе М. П. я передал его совет больному. После минутного молчания, глядя перед собою в окно, Аким Львович ответил: „Хорошо. Я покоряюсь“.

При любезном содействии проф. И. И. Грекова он на другой же день был помещен в Обуховскую больницу.

В светлой приемной больницы фигура Воынского в сюртуке, в нахлобученной черной шляпе, с пенсне

в руке, с высокоподнятыми недоумевающими бровями была как-то по-особенному необычна. Таким он, вероятно, казался в суতোлке трамвайного вагона.

Ко всему окружающему он оставался совершенно безучастным, — ни о чем не расспрашивал, ничего не просил. Казалось, что в происходящем он был не участником, а только наблюдателем необычной для него обстановки.

Ко всем явлениям своей болезни Аким Львович относился с абсолютным презрением, и даже тяжелые опухоли на руке и ногах для него как бы не существовали. (Опухшую руку он постоянно прятал под одеяло, под подушку: ни разу я не видел ее открытой). Он, казалось, не желал признавать своего тела. Тело нарушало его незыблемые права, и он смотрел на свою болезнь с таким же недоумением, как и на больничную обстановку Обуховской приемной. И совершенно логичной была формулировка его согласия на переезд в больницу: „Я покоряюсь“.

В больнице Аким Львович продолжал живо интересоваться делами своего техникума. Он отдавал приказания навещавшим его сотрудникам, требовал, чтобы его держали в курсе всех дел. Также его не оставляла мысль о санатории в Детском Селе.

В один из приемных дней у его постели сидели А. И. Доливо-Добровольский и я. Воспользовавшись каким-то замечанием Акима Львовича, Добровольский заговорил о В. В. Розанове. При имени Розанова Аким

Львович откинулся на подушки, самодовольно взглянул на нас и сказал: „Розанов. Что такое Розанов? Он называл себя фабрикой мыслей. Но какая же это фабрика мыслей? О чем он писал? О бабах. Об юбках. И только об юбках. Это я могу считать себя фабрикантом мыслей. Посмотрите, какие разнообразные мысли. О чем я только не писал? Русские критики, Лесков, Гиперборейский гимн, Леонардо, Рембрандт и сколько еще других. Это действительно фабрика мыслей“!

В последний раз я видел Акима Львовича за 2—3 дня до его смерти. Лежал он или, вернее, полусидел на высоких подушках в маленькой светлой палате хирургического отделения. Я знал уже, что положение его безнадежно.

Прощаясь, он поднял на меня свои огромные глаза и спросил:

— „Когда же, М. А., вы отвезете меня в Детское Село?“.

М. Фроман

ОТ КНИГ К ЧЕЛОВЕКУ

(Две встречи с А. Л. Волинским)

Смерть яркого и талантливого человека, деятельность которого возбуждала горячие споры и разногласия среди современников, естественно заставляет эти споры умолкнуть, обязывает всех без различия беспристрастно оценить его труд, заслуги и жизненное дело. Мелкие направленные и кружковые счеты, конечно, должны смолкнуть над такой могилой; в этом смысле древне-римский завет — говорить лишь „хорошее об умершем“ — стоит незыблемо и до наших дней. Но в шаблонном следовании этому завету есть немалая опасность, даже две опасности сразу. Говоря лишь о том, что сближало нас с умершим и умалчивая о том, что разделяло нас „правой враждою“, мы всегда рискуем субъективно переделать и слащаво канонизировать его образ. Сам Волинский менее всего хотел бы этого. Что-то очень личное и страстное чувствуется в том месте его книги „Русские критики“, где он цитирует ироническое стихотворение Добролюбова: „Пускай умру, печали мало“. Волинский тоже опасался „стать любви предметом“ лишь „под могиль-

ною землю" и менее всего хотел бы, "чтоб все, чего желал так жадно и так напрасно я живой" вдруг "улыбнулось мне отрадно под гробовой моей доской". Дело здесь не только в разногласиях и осуждениях. Посмертные похвалы и гимны обычно затушевывают драму отошедшего. Слишком много говоря о сделанном, они умалчивают о недоделанном, они "заговаривают" нашу скорбь, наш стыд, наше чувство вины перед умершим. Не лучше ли посмотреть истине прямо в глаза и, признав эту вину, воссоздать волнующий образ Волинского, во всей полноте его дисгармоний и горьких разочарований?

Мне не суждено было быть ни лично близким покойному человеку, ни сознательным свидетелем и участником тех журнальных бурь, которые, на недолгое, правда, время сделали имя А. Л. Флексера-Волинского известным и влиятельным среди русской читающей публики. Принадлежа к более молодому поколению, я познакомился с идеями Волинского уже не в журнальных статьях, а в книгах-сборниках, много позже и спокойнее, с самого начала стараясь оценить их объективно, почти исследовательски. Но это старание не увенчалось успехом: слишком взволновали и даже возмутили многим меня эти книги, слишком явно и резко осуждали они то идейное течение русской мысли, к которому меня издавна влекло, течение идущее от Белинского и Герцена, через Добролюбова и Чернышевского, к Лаврову и Михайловскому. Было

больно и досадно видеть, как человек, несомненно чуткий и широко образованный, справедливо возмущаясь некультурностью русской журналистики и близорукостью кружковых оценок, сам рассуждает глубоко догматически и пытается создать лишь новый кружок-секту на смену старым. За культом общности, политического радикализма, народничества Волинский — сам философ-новатор — не разглядел основной философской идеи русского "социологического индивидуализма", идеи личности человеческой, как верховной ценности мирозерцания и основы всех замыслов идеального общежития. Волинский не хотел быть историком движения и сознательно судил прошлое русской критики с точки зрения постоянных ценностей — в этом он был прав, и деятельность его будила мысль подлинно критическую — но он не захотел более любовно прислушаться к "рабьему" эзоповскому языку наших мыслителей и раскрыть под его корою жилы смелой и оригинальной философии, он не достаточно понял и оценил драму этих одиночек, опередивших свой век и потом сознательно самоотверженно совершавших свое "нисхождение" с высот личной философской оригинальности в работу пропагандистов, популяризаторов, организаторов общественногн мнения¹⁾. А, между

¹⁾ Надо, однако, оговориться, что философское значение Герцена и Лаврова было Волинским оценено по достоинству. В этом вопросе он даже явился пионером.

тем, судьба уготовила самому Волинскому ту же трагическую судьбу.

Волинский пришел в русскую литературу, как упорный и последовательный западник, как искренний апостол систематической философии и художественной критики, ясно, на европейский манер, оформленных и выделенных, как особые сферы культурного строительства. Но ему с самого начала пришлось взять на себя роль пропагандиста самой элементарной азбуки этих идей. Колоссальная эрудиция и грандиозность творческих замыслов этого человека — совершенно неизмеримы тем малым, что удалось ему выразить в книгах. О чем бы ни писал Волинский: о русской литературе и критике, о живописи эпохи Возрождения, об иудействе и христианстве, о балете, наконец, — все книги его какой-то пролог, какое-то введение, „вечная присказка“, за которою ждешь еще главной, ослепительной и потрясающей сказки. Судьба Волинского иногда напоминает судьбу злополучного героя тургеневского стихотворения в прозе: „Два четверостишия“. Он, как поэт Юный, пришел чуточку раньше времени, сказал свое и был освистан. За ним очень скоро пришли другие, часто более легковесные и меньше выстрадавшие свою идею, сказали почти то же, только немножко иначе и стяжали шумную славу. Волинский — сын „переходного времени“, он — начинатель, он стоит у неразделимого русла многих потоков позднейших десятилетий. Поэтому,

с одной стороны, он кажется несколько наивным и провинциальным, в его книгах еще нет даже той, быстро оформившейся у нас, блестящей философской терминологии, которая зато в дурном уже изобилии наполняет писания последующих „идеалистов“. Сама серенькая, сборно-будничная наружность большинства его книжек резко отличается от стилизованных обложек и стройных оглавлений Мережковского, Бердяева и др. Видно, что перед нами еще одиночка, непонятый, гонимый, несколько не модный. Волинский и не гнался за модой. Начинаящиеся у него формулы и решения культурно-философских вопросов почти всегда противоречат тем путям, которыми пошла мысль, как будто бы столь близких ему, молодых современников. Волинский проповедывал связь литературы и искусства с философией (на место односторонности „общественников“), а фактическое развитие русской литературы XX века (даже у символистов), чем дальше, тем больше разрывало эту связь, превращая и художественное творчество, и критику в формальную работу над словом, как таковым. Волинский стоял за эстетику, объединенную логикой, декаденты провозглашают культ эстетики против культа этики и логики. Волинский пытался популяризировать у нас Канта исторического, Канта-дуалиста и метафизика. Новый век русской мысли наряду с возрождением материализма и позитивизма запечатлен влиянием неокантианства, отвергавшего возможность „научной“ метафизики. Или, вот еще

очень показательный пример: Волинский, очень серьезно и кровно связанный со старой еврейской культурой, старался сплавить ее заветы воедино с евангельскими, христианскими, а развитие современной ему еврейской интеллигенции резко повернуло либо на религиозно-националистическую (сионизм во всех оттенках), либо на материалистическую и социалистическую (интернациональную) дорогу. Даже в областях более специальных работ, составивших Волинскому громкую славу, он не шел путем большинства: для современных историков искусства „Леонардо“ Волинского слишком философичен и импрессионистичен, для современных театралов взгляды Волинского на танец слишком „классичны“ и умеренны. Но, с другой стороны, именно это одиночество, эта свобода от господствующих течений, обеспечила широту и длительность влияния личности Волинского на круг людей, постоянно поддерживавших общение с ним. Его быстро „устаревшие“ книги заключали в себе зерна таких идей, которые заглохли сначала, но оживились позже и возражают на наших глазах.

Все это стало мне особенно ясно, когда на смену знакомству с книгами и бесплодному „спору“ с ними, наедине с собою, пришли впечатления от Волинского, как живого человека. Это совершилось (если не считать нескольких случайных встреч) только после революции, когда вообще померкли и сместились традиционные рамки, границы кружков и направлений.

В холодном и голодном Питере 1918-22, то в Доме литераторов, то во „Всемирной Литературе“, то, наконец, в Союзе писателей начал я встречать эту скитальческую, своеобразную фигуру, невольно становившуюся одной из центральных и типических для интеллигенции нашей эпохи. Знакомства собственно и тут никакого не вышло, кроме чисто шапочного, но образ человека незабываемо вошел в личную жизнь, речи его заставили к себе прислушаться. И многое, многое, что было в книгах незаметно и бледно раньше, теперь оживилось и заискрилось красками, многое непонятное и противоречивое пришло к ясности и согласию. Открылся центр, корень всех проявлений личности, создавалось впечатление единого целого. Несколько раз оно было особенно ярким. Помню, напр., контр-доклад Волинского, прочитанный непосредственно вслед за знаменитым „Крушением гуманизма“ А. А. Блока на частном собрании сотрудников „Всемирной Литературы“ в квартире А. Н. Тихонова. Это была стройная и систематическая защита гуманистической культуры против страстного натиска „музыкальной“ стихии. Представители двух крайних поколений русского эстетического новаторства столкнулись тут в непримиримой противоположности. Холодный и острый ум идеалиста-догматика блестяще, но тщетно пытался заковать в свои формулы неуловимый поток прозрений страстного поэта-визионера. Чувствовалось, что каждый из этих двух людей знает что-то

такое, чего другой не предчувствует и даже не хочет знать. Несмотря на это, между ними была и глубокая общность—дух скитальчества, дух вечно отрекающейся и бунтующей русской интеллигенции одинаково коснулся обоих. Но Блок сгорел в своем скитальчестве, он добровольно и сознательно ушел на этот путь из уюта старой культуры. Волинский, как будто бы столь прочно опутанный классической культурой Запада, скитался в ней всегда, проходил сквозь нее, сквозь православно-греческий Афон, сквозь русские традиции и даже сквозь иудейство, как вечный странник—гость, как вечный „обще-человек“, даже почти какой-то бесплотный дух. Он любил лишь „дух“, мысль, идею, а не живую плоть культуры, и самая красота искусства для него, издавна прельщенного творениями Канта и Шопенгауэра, была лишь предельным оформлением и деи. Блок, „из ада изведенный“, обожженный пламенем, по-новому любил и ненавидел мир; Волинский лишь проходил по этому миру, как легкая призрачная тень. Вот отчего показалась всем столь странным и надуманным, когда Волинский в речи о „Двенадцати“ Блока (в первую годовщину его смерти, в Доме Литераторов) сопоставил Христа своих „Четырех Евангелий“, Христа, как демагога-вождя „хамитско-кушитских масс“, с Христом, являющимся в финале поэмы Блока. Это опять было „то да не то“—параллель—контраст между тонкой гипотезой эрудита и вдохновенной интуицией художника, между хитроумным

объяснением и сразу оценивающим явление словом-символом. И еще раз ярко встает передо мной одиночество Волинского: его речь на публичном вечере Союза писателей (в зале Городской думы в 1923 г.). Волинский говорил о медленном росте понимания литературно-художественных явлений в России, о задачах критики, вспоминал свои былые баталии, искренно старался установить признаки благоприятной перемены привычек и вкусов. Но общий язык его с поэтами и беллетристами современности опять не шел дальше основных начал, за сходствами зияли различия, и „старый энтузиаст“ невольно впадал в грустный тон. Передо мною—опять был прежде всего—одиночка, скиталец, интеллигент-книжник, создающий себе свой блаженно—замкнутый, но вовсе не властный и не живой мир.

И еще одно: Волинский, как известно, был небольшого роста. Отчего же он неизменно кажется мне, в воспоминаниях, почти высоким? Вероятно, оттого, что образ его неразделен с ассоциациями скитания, стремления в высь, холода и острого длинного копья—его мысли. Хотелось видеть его не в пиджаке, а в плаще или мантии пророка-философа. Он был весь какой-то туманный, прозрачный: вот—вот растает в воздухе, улетит. И холодным одиночеством веяло от него. Вспоминались стихи Надсона о том драматурге—юбиларе, что „гордо проходит толпой“, счастливый своей победой и славой, но в неведомой для толпы глубине.

несет рану своего одиночества и иссушенности беспощадною аналитическою мыслью. „Потому что он с детства не жил, потому что не будет он жить, потому что он каждое чувство спешил, чуть оно возникало, умом разложить“. Вспоминалось и восклицание младшего сверстника Волынского, Д. С. Мережковского: „И хочу, но не в силах любить я людей“!

Волынский знал до конца все наслаждения мысли, „любви к призракам“, к идеям. Это стоило ему дорого и драму разрыва с миром людей он ощущал всегда.

Преклонимся же перед этой драмой и не будем от нее отворачиваться. Поблагодарим Волынского, может быть, никогда не узнавшего тайну воды живой, за то, что принес он нам ту мертвую воду сказок, что стягивала и залечивала раны богатырей, оформляла их силы для новых подвигов. Такою водой был для нас философский идеализм Волынского, возобновивший тягу к систематической философии. Конечно, в содержание русской философии будущего идеи „Русских критиков“, столь чуждые Волынскому, войдут незаменимым звеном, но, наряду с ними, камнями для этого здания послужит также и идеи их сильного противника, который своим дерзким нападением на кумира эпохи пробудил новый интерес к вопросам философской культуры и плодотворную их разработку.

А. Гизетти

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ А. Л. ВОЛЫНСКОГО¹⁾

(1880 — 1925).

1. Письмо в редакцию. О Петербургском сиротском доме. «Рассвет», 1880, № 28. Подписано: Номо.
2. Корреспонденция из Житомира. О задачах переселения. «Рассвет», 1882, № 7.
3. Праздник в черте. Фельетон. «Русский Еврей», 1884, № 45—46. Подписано: А. Флексер.
4. Новое слово в жизни русского еврейства. (По поводу исполнившегося 20 декабря 1884 г. двадцатипятилетия литературной деятельности еврейского писателя Соломона Моисеевича Абрамовича). В сборнике статей и сведений о колонизации евреями св. земли. «Палестина», Спб. 1884. Подписано: А. Флексер.
5. Теологико-политическое учение Спинозы. «Восх.»²⁾, 1885, № 10, стр. 114—137, № 11, стр. 125—147, № 12, стр. 122—150.

¹⁾ В настоящем указателе описаны отдельные издания трудов и журнальные работы А. Л. Волынского; газетные статьи сюда не вошли.

²⁾ Сокращенные названия периодических изданий:

- «Восх.» — «Восход».
 «С. В.» — «Северный Вестник».
 «Ж. Иск.» — «Жизнь Искусства».
 «Р. М.» — «Русская Мысль».
 «Р. О.» — «Русское Обозрение».
 «В. Е.» — «Вестник Европы».

6. По поводу критических заметок о переводе «Этики» Спинозы. Заметка. «Восх.», 1886, 1 стр. 21—23.

7. Всеобщая История, Георга Вебера, пер. со 2-го изд., т. I. Перев. Андреева, изд. К. Т. Солдатенкова, М. 1885. «Восх.», 1886, 2, стр. 19—25. (Библиогр. заметка).

8. Израиль в эпоху судей (Религиозное, общественное и государственное состояние евреев во время судей). Ив. Троицкого. Спб. 1885). «Восх.», 1886, 5, стр. 17—24. (Библиографическая заметка).

9. Новый сборник стихотворений С. Т. Фруга. (С. Т. Фруг. «Думы и песни». Стих. 1884—1887). «Восх.», 1886, 11, стр. 30—48.

10. Две страницы былого. (Всеобщая история Георга Вебера, т. III и IV, перев. Андреева, изд. К. Т. Солдатенкова, М. 1886). «Восх.», 1887, 2, стр. 17—26.

11. Библейские песни русского поэта. Стихотворения Константина Фофанова (1880—1887). «Восх.», 1887, 3, стр. 11—16.

12. Библия в русской поэзии. Этюды первый в второй. «Восх.», 1887, 7—8, стр. 72—96; 9, стр. 66—94.

13. «Очерки сравнительной этнографии и культуры», М. И. Кулишера, Спб. 1887 г. «Восх.», 1887, 10, стр. 21—22. (Библиографическая заметка).

14. Два слова о жидовстве в русской литературе. «Нед. Хроника Восхода», 1887, 47.

15. Менцели наших дней. «Восх.», 1888, 1—2, стр. 1—16.

16. Всеобщая история, Георга Вебера, пер. Андреева, изд. К. Т. Солдатенкова, М. 1887, т. VI. «Восх.», 1888, 3, стр. 27—28. (Библиографическая заметка).

17. Бытописатель русского еврейства. Критический обзор беллетристических произведений Л. О. Леванды. «Восх.», 1888, 7, стр. 17—29; 8, стр. 25—44; 9, стр. 34—48; 10, стр. 1—35; 11—12, стр. 47—66; 1889, 1—2, стр. 1—27; 4, стр. 1—15.

18. Хороший роман. По поводу романа Льюиса Уоллеса «Во время оно». «Восх.», 1889, 5, стр. 1—16.

19. Вильгельм Вундт. Этика. Исследование фактов и законов нравственной жизни. «С. В.», 1889, 5, стр. 72—78. (Критическая заметка).

20. Критические и догматические элементы в философии Канта. «С. В.», 1889, 7, стр. 67—87; 9, 10, стр. 89—109; 11, стр. 51—72; 12, стр. 55—78.

21. Наука и философия. Критический обзор главнейших произведений Вильгельма Вундта. «С. В.», 1890, 1, стр. 79—98; 2, стр. 45—68; 3, стр. 39—62; 4; 5, стр. 35—57.

22. Критическая заметка. (При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни Н. М. Минского). «С. В.», 1890, 2, стр. 101—107.

23. Литературные заметки. Два слова вообще. Характерное письмо. «С. В.», 1890, 3, стр. 113—123. (По поводу письма С. Бердяева, напечат. в газете «Новости» 19 янв. 1890 г., в котором С. Бердяев приносит покаяние в том, что одну из своих статей закончил «грубой и пошлой выходкой против писателя А. Н. Плещеева»).

24. Литературные заметки. «С. В.», 1890, 10, стр. 153—167. (О рассказе Гиippiус «Злосчастная», «Воспоминания детства» Ковалевской и повести Потапенко «На действительной службе»).

25. Литературные заметки. «С. В.», 1890, 11, стр. 159—173. (О рассказе И. И. Ясинского «Современники», напечатанном в сент. кн. «Р. О.» за 1890 г. и романе П. Гнедича «Пустыня»).

26. Литературные заметки. «С. В.», 12, 1890, стр. 173—186. (О романе Сенкевича «Без догмата»).

27. Литературные заметки. Талант и искра Божия — глава из романа Н. К. Михайловского «Карьера Оладушкина». «Плоды Просвещения», гр. Л. Толстого. — Проф. Козлов о Толстом. — «Вопросы философии и психологии». — «Литературные учения» С. А. Андреевского. «С. В.», 1891, 1, стр. 150—166.

28. Литературные заметки. Белинский. — «Учитель жизни» г. Каронина. — «Семена», ром. г. Эртеля. «В. Е.», январь — Неудачная комедия. — Критическое легкомыслие и критические потуги. — Плохой парадокс о Гоголе. — Проф. Н. Я. Грот и Вл. Соловьев. «С. В.», 1891, 2, стр. 148—164.

29. Литературные заметки. Роман М. В. Крестовской «Артистка», «В. Е.», апрель — май. — Этюд З. Гиippiус «Одинокий», «В. Е.», май. — «Столкновение», эскиз Юлии Безродной, «Р. М.», март. Н. В. Шелгунов (некролог). — Э. К. Уоттсон (некролог). «С. В.», 1891, 6, стр. 197—216.

30. Литературные заметки. С. В. Ковалевская (некролог). — История шестидесятих годов, Н. В. Шелгунов. —

Соч. Н. В. Шелгунова, в 2 томах с портретом автора и вступительной статьей Н. Михайловского. Ответ г. Михайловскому. «С. В.», 1891, 3, стр. 147—163.

31. Литературные заметки. «Мамочка на водах», — несколько слов к философской заметке. «С. В.», 1891, 4, стр. 171—187.

32. Нравственная философия гр. Льва Толстого. «С. В.», 1891, 10, стр. 185—216.

33. Литературные заметки. И. А. Гончаров (некролог). «С. В.», 1891, 10, стр. 152—163.

34. Литературные заметки. «Братья Гордеевы», пов. Мамина-Сибиряка. — «Р. М.», сент. — окт. — «Три сестры», пов. в письмах И. Ясинского, «Р. О.», окт., — Чехов. — Короленко. — Потапенко. — «Ничтожные причины», рассказ Н. Т., «В. Е.», окт. — «Стихотворения» А. Апухтина, изд. 2-е, 1891. «С. В.», 1891, 11, стр. 126—142.

35. Литературные заметки. Герои и героическое в истории. «Публичные беседы Томаса Карлейля», перевод с английского В. Яковенко. Спб. 1891. — Культ великого человека и культ человечества И. Канта. — Критические возражения. «С. В.», 1891, 12, стр. 184—213.

36. Литературные заметки. «Артистка», роман М. Крестовской, «В. Е.», апрель — декабрь. — «Полунощники», пейзаж и жанр Н. С. Лескова, «В. Е.», ноябрь — декабрь. — «Дуэль», пов. Ант. Чехова. — «Тени и тайны», стих. К. Фофанова. «С. В.», 1891, 1, стр. 160—186.

37. Литературные заметки. «Смена», ром. А. И. Эртеля. — «Рассказы» Каронины. — «Учитель жизни». — Несколько слов о г. Потапенко. «С. В.», 1892, 2, стр. 144—172.

38. Литературные заметки. Два сочинения о Спинозе. «С. В.», 1892, 3, стр. 136—154.

39. Литературные заметки. Два сочинения о Спинозе. «С. В.», 1892, 4, стр. 162—188.

40. Литературные заметки. П. В. Анненков и его друзья. — Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 г. — Философия самоотречения. — Несколько слов о г. Михайловском. Стихи Огарева. — Ответ «Неделе». «С. В.», 1892, 6, стр. 158—187.

41. Литературные заметки. «Василий Теркин», ром. в 3 ч. П. Д. Боборыкина. «В. Е.» — Стихотв. А. М. Жемчужникова, в двух томах. — Проблемы эстетического идеализма в ст. кн. Волконского о художественном наслаждении и худо-

жественном творчестве. — Ошибки реалистической эстетики. «С. В.», 1892, 7, стр. 126—159.

42. Литературные заметки. «Любовь», ром. И. Потапенко. — «Материалы для биографии Гоголя» В. Шенрока. — «Очерки гоголевского периода». — Белинский и Гоголь. — «Вопросы дня и жизни», В. Гольцева. — Итог моих пререканий с г. Михайловским. «С. В.», 1892, 10, стр. 119—153.

43. Литературные заметки. А. В. Кольцов. Критики Кольцова природа, любовь, думы. Смерть Кольцова, Юбилейные статьи биографического и критического содержания. Переводчики Кольцова. «С. В.», 1892, 11, стр. 117—146.

44. Литературные заметки. «La débacle», par Emile Zola. Paris. 1892. «С. В.», 1892, 12, стр. 97—134.

45. Литературные заметки. Два вступительных замечания. — Критические статьи: Пушкин, Гоголь и др. — Значение Пушкина. — Неверный взгляд на Гоголя. — Завещание. — Авторская исповедь. — Избранные места из переписки с друзьями. Критический отрывок Белинского, Вяземского, Чаадаева, Жуковского и гр. Льва Толстого. «С. В.», 1893, 1, стр. 127—170.

46. Литературные заметки. Н. Страхов. Его учение о справедливости, милосердии и святости. — Учение Будды: о мире, о душе, о нирване. — Коренная ошибка буддийской метафизики. — Итальянский ученый Мариано об ошибках буддийской философии. — Его сочинение «Buddismo e Cristianesimo». — Заключительное слово о г. Страхове. «С. В.», 1893, 2, стр. 116—146.

47. Литературные заметки. О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе, Д. С. Мережковского. — Существует ли русская литература. — Родоначальник русской поэзии в характеристиках Тургенева, Островского, Достоевского. — Русская критика: Протопопов, Скабичевский, Буренин. — Идеализм, символизм, мистицизм. — Юмористическая поэма Полонского «Собаки». «С. В.», 1893, 3, стр. 108—142.

48. Литературные заметки. Новая драма Генрика Ибсена «Строитель Сольнес». — Идеалистическая тенденция драмы. — Герой бессилия. — Поэзия цельной природы. — Два новых рассказа Антона Чехова: «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека». — Достоинства и недостатки обоих рассказов. «С. В.», 1893, 5, стр. 110—142.

49. Новый роман Поля Бурже. «С. В.», 1893, 6, стр. 203—213. (О романе «Cosmopolis», Paris, 1893).

50. Наука, философия и религия. «С. В.», 1893, 9, стр. 179—202.
51. Литературные заметки. Белинский. Ст. I. «С. В.», 1893, 10, стр. 120—157.
52. Литературные заметки. Белинский. Ст. II. «С. В.», 1893, 11, стр. 129—171.
53. Литературные заметки. Белинский. Ст. III. «С. В.», 1893, 12, стр. 146—196.
54. Литературные заметки. Н. А. Добролюбов. (Статья первая). «С. В.», 1894, 1, стр. 151—184.
55. Литературные заметки. Н. А. Добролюбов. (Статья вторая). «С. В.», 1894, 2, стр. 130—165.
56. Литературные заметки. Н. А. Добролюбов. (Ст. третья). Философские взгляды Добролюбова. — Борьба с наивным сантимиализмом под видом борьбы с идеализмом. — Учение о гармоническом развитии человека. — Роль личности в истории. — Внутренние противоречия. — Мелкие критические заметки Добролюбова. — «Очерк истории русской поэзии» А. Милюкова. — Орест Миллер. — Статья о Гончарове, Островском, Тургеневе и Достоевском. — Характеристика «Свистка». — Первые шаги Конрада Лилиеншвагера. — Протест латораторов против «Иллюстраций». — Диспут Погодина и Костомарова. — Эпизод с Якушкиным. — Общие выводы. — Заключение. «С. В.», 1894, 3, стр. 97—145.
57. Литературные заметки. Г. Михайловский и его рассуждения о русской литературе. «С. В.», 1894, 4, стр. 98—122.
58. Литературные заметки. Вражда и борьба партий. «С. В.», 1894, 5, стр. 137—155.
59. Литературные заметки. Журналистика шестидесятых годов и Писарев (Статья I). «С. В.», 1894, 10, стр. 245—303.
60. Письмо в редакцию. «С. В.», 1894, 10, стр. 104—107. (Ответ анонимной корреспонденции, упрекавшей А. Л. Волынского в том, что он слишком «холодно относится к шестидесятым годам и деятелям этой эпохи»).
61. Колоцапы. Забытое слово. «С. В.», 1894, 12, стр. 86—88.
62. Литературные заметки. Новые деятели в журналистике шестидесятых годов и полемические бури. «С. В.», 1894, 12, стр. 359—410.
63. Литературные заметки. Раскол в радикальной журналистике шестидесятых годов. 1895, 1, стр. 297—354.

64. «Русским Ведомостям». «С. В.», 1895, 2, стр. 107—108.
65. Литературные заметки. Биография и общая характеристика Писарева. «С. В.», 1895, 2, стр. 268—290.
66. Репин и Ге. «С. В.», 1895, 3, стр. 271—278.
67. «Русским Ведомостям». «С. В.», 1895, 3, стр. 128.
68. Литературные заметки. Д. И. Писарев. «С. В.», 1895, 4, стр. 270—310.
69. Литературные заметки. Д. И. Писарев. «С. В.», 1895, 5, стр. 251—304.
70. Л. Н. Толстой. Соч. т. XIV. «С. В.», 1895, 7, стр. 58—62. (Критика и библиография).
71. Влад. Соловьев. Смысл войны. «С. В.», 1895, 9, стр. 6—63. (Библиограф. заметка).
72. Александр Добролюбов. «С. В.», 1895, 9, стр. 71—84. (Библиограф. заметка).
73. Литературные заметки. Валериан Майков. Эстетические и общественные вопросы перед судом социологической критики. «С. В.», 1895, 10, стр. 293—316.
74. «Н. Кареев». Беседы о выработке миросозерцания. Спб. 1895, «А. Трика». Ответ одному из учащейся молодежи на письма к ней о самообразовании. Спб. 1895. «С.». Обращение товарища к студентам. Спб. 1895. «С. В.», 1895, 10, стр. 53—61. (Библиограф. заметка).
75. Литературные заметки. Аполлон Григорьев. Теория и законы органической критики. «С. В.», 1895, 11, стр. 294—33.
76. Оскар Уайльд. «С. В.», 1895, 12, стр. 311—318.
77. Идеализм и буржуазность. «С. В.», 1896, 1, стр. I—VI. (Совместно с Л. Гуревич).
78. Литературные заметки. «Власть тьмы» на столичных и провинциальных сценах — Стрепетова в роли Матрены. — Отношение печати и публики к драме гр. Толстого. — Л. Толстой о декадентстве. — Декадентство и символизм. — «Тайны души» М. Метерлинка. «С. В.», 1896, 1, стр. 298—316.
79. Литературные заметки. Современная русская беллетристика. «С. В.», 1896, 2, стр. 328—341.
80. Д. С. Мережковский. Новые стихотворения. «С. В.», 1896, 3, стр. 36—43.
81. Письмо в редакцию. «С. В.», 1896, 4, стр. 75. (Опровержение слухов о прекращении участия А. Л. Волынского в «С. В.»).

82. Литературные заметки. «Философские течения в русской поэзии». Изд. П. П. Перцова. — Газетная полемика по философскому вопросу. — Влад. Соловьев о Тютчеве. — Демонизм. — Отзвыв Некрасова, Аксакова, Фета и Л. Толстого о стихотворениях Тютчева. «С. В.», 1896, 7, стр. 219—240.

83. Литературные заметки. Куно Фишер о Шопенгауере. Личность философа. Критические возражения против системы. Общий взгляд на Шопенгауера и связь его учения с браминизмом и буддизмом. — Фантазия в поэтическом творчестве Полонского. Публицистические отголоски в некоторых его стихотворениях. Плещеев, как беллетрист. — Газетная полемика о жалкой лжи. «С. В.», 1896, 8, стр. 255—283.

84. Литературные заметки. Два последних романа Зола. «С. В.», 1896, стр. 233—281.

85. Литературные заметки. Аполлон и Дионис. «С. В.», 1896, 11, стр. 232—255.

86. Литературные заметки. Новое течение в современной русской литературе. — Ф. Сологуб. — Декадентство и символизм. — Письмо Л. Денисова. — Стилистика в произведениях г-жи Крестовской. — Г-жа Ахматова. «С. В.», 1896, 12, стр. 235—264.

87. Русские критики. Спб. 1896. Ц. 3 р.

88. Литературные заметки. Н. С. Лесков. «С. В.», 1897, 1, стр. 279—307; 2, стр. 255—282; 3, стр. 215—261; 4, стр. 189—234; 5, стр. 249—285.

✓ 89. В поисках за Леонардо да Винчи. «С. В.», 1897, 9, стр. 179—196.

90. Литературные заметки. У Палкина. «С. В.», 1897, 10, стр. 187—193.

✓ 91. В поисках за Леонардо да Винчи. набросок второй. «С. В.», 1897, 10, стр. 193—226.

92. Литературные заметки. Оправдание добра. «С. В.», 1897, 11, стр. 289—298.

✓ 93. В поисках за Леонардо да Винчи. набросок третий. «С. В.», 1897, 11, стр. 226—259.

94. набросок четвертый. 1897, 12, стр. 191—243.

✓ 95. Леонардо да Винчи, его жизнь и научно-философские труды. Ст. I. «С. В.», 1898, 1, стр. 243—243.

✓ 96. Ст. II. 1898, 2, стр. 203—244.

✓ 97. Ст. III. 1898, 3, стр. 232—264.

✓ 98. Ст. IV. 1898, 4, стр. 185—222.

99. Независимый. Этика обыденной жизни. Спб. 1889. «С. В.», 1898, 8—9, стр. 249—250. (Библиографич. заметка).

100. Литературные заметки. Петербургские театры. «С. В.», 1898, 8—9, стр. 156—181.

101. Н. С. Лесков. Критический очерк. Спб. 1898, стр. 168.

102. Борьба за идеализм. Критические статьи. Спб. 1900. Ц. 3 р.

✓ 103. Леонардо да Винчи. (Роск. изд.). Спб. 1900. Ц. 12 р.

104. Царство Карамазовых. Спб. 1901. Ц. 2 р.

105. Книга великого гнева. Критические статьи, заметки, полемика. Изд. 2-е, Спб. 1904. Ц. 3 р.

106. Достоевский. Изд. 2-е «Общ. Пользы». Спб. 1909. Ц. 1 р. 50 коп.

✓ 107. Леонардо да Винчи. Изд. 2-е, Киев, 1909, Ц. 3 р.

108. Четыре Евангелия. Изд. «Полярной Звезды». П. 1922, стр. 43.

109. Рождение Аполлона. «Ж. Иск.» 1923, 1.

110. Оживающий цветок. «Ж. Иск.» 1923, 4.

111. Взрыв. «Ж. Иск.» 1923, 5.

112. Литературные типы. «Ж. Иск.» 1923, 6.

113. «Малар Негодный». «Ж. Иск.» 1923, 7. (О постановке «Щелкунчика»).

114. Плачущий дух. «Ж. Иск.» 1923, 8. (Характеристика танцев Л. А. Спесивцевой).

115. Хореографические арабески. «Ж. Иск.» 1923, 10.

116. Виды творчества. (Скульптура, архитектура, музыка). «Ж. Иск.» 1923, 11.

117. Литературные арабески. «Ж. Иск.» 1923, 14. (По поводу книги Кашиной-Евреиновой о Достоевском).

118. Хореографические арабески. «Ж. Иск.» 1923, 15. (О Л. С. Леонтьеве и К. П. Маклецовской).

119. Хореографические арабески. Лики человеческого тела. «Ж. Иск.» 1923, 16.

120. Хореографические арабески. Лики в живописи. «Ж. Иск.» 1923, 17.

121. Новатор. «Ж. Иск.» 1923, № 18. (О М. М. Фокине).

122. Лилия балета. «Ж. Иск.» 1923, 19. (О Е. П. Гердт).

123. К. П. Маклецова. «Ж. Иск.» 1923, 21.
124. Хореографический факультет. «Ж. Иск.» 1923, 24. (Доклад о хореограф. фак. при Высшем институте сценических искусств).
125. Вчера и сегодня. «Ж. Иск.» 1923, 26. (Приветственное слово на литературном вечере 16 июня 1923 г. в Ленинграде).
126. Еврейский театр. Ипокрит. Ст. I. «Ж. Иск.» 1923, 27. (Об евр. театре «Габима»).
127. Еврейский театр. Походный ковчег. Ст. 2, «Ж. Иск.» 1923, 28.
128. Разрыв с христианством. «Ж. Иск.» 1923, 31. (По поводу иудаизма Гейне. В этом же № ответная статья А. Блока «О иудаизме у Гейне» — по поводу доклада А. Л. Волынского).
129. Дуракович и Курицын. «Ж. Иск.» 1923, 34. (О литературно-художественной рецензии в нашей прессе).
130. Апология дилетантизма. «Ж. Иск.» 1923, 35 и 36. (О дилетантизме «около литературы»).
131. Лица и лики. «Ж. Иск.» 1923, 40. (О Мачтете, Ясинском, Замятине).
132. Хореографические арабески. «Ж. Иск.» 1923, № 41. (О Гердт, Л. Ивановой).
133. Лица и лики. «Ж. Иск.» 1923, 42. (О Л. Н. Толстом, С. А. Толстой и пр.).
134. Стразы Бенвенуто Челлини. «Ж. Иск.» 1923, 50.
135. Проблема русского балета. Изд. «Жизнь Искусства». П. 1923, стр. 23.
136. Н. С. Лесков. Изд. «Эпоха». П. 1923, стр. 220.
137. Чем будет жить балет. «Ж. Иск.» 1924, 3.
138. Чем жил и живет балет. «Ж. Иск.» 1924, 5.
139. Политический аскет. «Ж. Иск.» 1924, 5. (О В. И. Ленине).
140. Русские женщины. «Ж. Иск.» 1924, 6. (О Л. Я. Гуревич).
141. Андриенна Лекуврер. «Ж. Иск.» 1924, 31. (Памяти Лидии Ивановой).
142. Фея «Оленьего парка». (Из воспоминаний). «Ж. Иск.» 1924, 34. (О М. Ф. Кшесинской).
143. Тамара Платоновна Карсавина. «Ж. Иск.» 1924, 36.

144. Ассирийские города. «Ж. Иск.» 1924, 38. (Описание «в общих чертах многолетнего контакта с балетным миром»).

145. Книга ликований. Азбука классического танца. Изд. Хореографического техникума. Л. 1925. Стр. 324. Ц. 10 р.

Б. Веккер.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Предисловие	7—9
Э. Голлербах. Жизнь А. Л. Волынского (краткий биографический очерк)	11
Конст. Федин. Аким Львович Волынский	29
А. Горнфельд. Тридцать лет назад	32
П. Медведев. In memoriam	39
Б. Эйхенбаум. Из впечатлений об А. Л. Во- лынском	44
Елена Грекова. Старый энтузиаст	47
М. Фроман. Последние дни А. Л. Волынского	69
А. Гизетти. От книг к человеку (Две встречи с А. Л. Волынским)	73
Б. Веккер. Библиография трудов А. Л. Во- лынского (1880—1926 г.)	83

Цена 1 руб.

14673

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
Ленинград, Фонтанка, 50